Р2
3-53

№ 24-25
1960

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

ОРГАН ПЕНЗЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
И ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР

№ 24-25 *Выходит 4 раза в год* *1960 год*

Н. Почивалин

СИБИРСКАЯ ПОВЕСТЬ

Бывает так, что западет что-то в душу и осядет, до поры до времени, в дивных кладовых памяти. Мелькают месяцы, годы, занимает и волнует то одно, то другое, а то давнее, до чего и дотронуться недосуг, все так же тихонько лежит на бессрочном хранении. Потом вдруг какая-то встреча, событие, толчок — и, словно выхваченное лучом из темноты, предстанет оно перед твоим удивленным взором во всей своей неповторимой красоте и значительности. Композитор в такие мгновения бросается к роялю, живописец хватает кисть, писатель садится за письменный стол; и хотя способы выражения у всех у них разные, первая мысль почти всегда одинакова: да что ж это я, неумная голова, раньше об этом не подумал!..

Нечто подобное совсем недавно пережил и я, просматривая утром свежие газеты.

Только что закончился декабрьский Пленум ЦК КПСС, на первых полосах газет были напечатаны указы о награждении передовиков сельского хозяйства. Я прочитал название передовой статьи «Правды», пробежал хронику о приеме какого-то посла, мельком взглянул на снимок — пять фотографий, объединенных рубрикой «Герои Социалистического Труда», собрался перевернуть страницу и, сам еще не понимая зачем, снова скользнул взглядом по фотографиям.

Ну, конечно же, — он!

Бритая, грубоватой лепки голова, резкая линия подбородка, крепкая, короткая шея,— из тех, которым белый воротничок сорочки да галстук всегда тесны, широкие обрезанные фотографией плечи; и самое приметное: из-под немыслимо густых, словно приклеенных, бровей — неулыбчивые, и все равно — полные сердечности и спокойствия глаза. Нет, такого ни с кем не спутаешь!

Уже не сомневаясь, я торопливо нашел в Указе знакомую фамилию, тут же написал поздравительное письмо и, захваченный внезапно ожившими, зазвучавшими голосами, принялся набрасывать эту невыдуманную повесть. Ах, пустая голова, да где же я раньше был!..

1

Перенеситесь мысленно на десять лет назад, вообразите, что попутная полуторка, миновав деревянный поскрипывающий мост через Иртыш, выскочила из душного города в полевой простор; добавьте к этому, что вам нет тридцати, вы влюблены в газетную работу

и посланы писать не статью, а очерк, и вы без труда представите себя на моем месте — в подпрыгивающем кузове машины, навалившегося на горячую зеленую кабину, целиком поглощенного полученным заданием... За бортом, не отставая и, кажется, так же подпрыгивая на ухабах, тянется серая завеса пыли, пахнет притомленным на солнце полынком, бегут навстречу бескрайние, до самого горизонта, желтеющие поля, прикрытые сверху необыкновенно синим струистым небом.

Впрочем, чудесный сибирский пейзаж идет мимо взгляда, не затрагивая сердца. Нужно побродить еще по свету, всякого повидать да понабивать шишек, чтобы однажды, может быть, уже и вдалеке отсюда, увидеть его заново — с пронзительной, обжигающей зрение ясностью, и вдруг понять, как все это прекрасно...

Похрустывая осевшей на зубах пылью, я жую давно погасшую папиросу и до рези в глазах всматриваюсь вперед. Там, где невидимой гранью сходятся земля и небо, все отчетливей обозначается черно-сизое пятнышко леса, цель моей командировки.

Пшеничное поле внезапно обрывается — точно по линейке отрезано; по обеим сторонам от дороги вспыхивают белые полосы цветущей гречи. Старый сибирский тракт стрелой летит в медные, на глазах вырастающие в размерах, сосны, — я поспешно барабаню в кабину.

Несколько минут спустя стою у опрятного саманного домика, дома-музея, как гласит вывеска. Справа виднеются макушки ветел, словно спрыгнувших в овраг, за ними — противоположный пологий берег. Там, внизу, течет Иртыш, блеснувший под мостом в начале моего пути и затем степенно обогнувший сорокакилометровую дорогу-хорду. Из-под обрыва доносится равномерное постукивание движка, и сейчас это единственные звуки, нарушающие безмолвие знойного полдня. Против домика, за живой оградой высоких сосен — сад; защита эта настолько надежна и впечатляюща, что приземистый редкий заборчик не сразу и заметишь. От калитки в глубь сада бежит посыпанная песком дорожка, пропадающая где-то в зеленой чащобе...

Дом-музей на замке. Я ставлю на крыльцо чемоданчик, кладу сверху прокаленный и липкий от жары прорезиненный плащ, сажусь и делаю единственно целесообразное в моем положении — закуриваю.

— Вы — к нам?

Наверно, потому, что сижу я на нижней ступеньке, в поле зрения поначалу оказываются очень большие, из прочнейшей ярко-желтой кожи ботинки, — таких ботинок наши местные фабрики не выпускают; затем — снизу вверх — вижу светло-зеленые брюки, такой же пиджак, под ним — синюю, в полоску рубашку; для того, чтобы взглянуть в лицо окликнувшему меня человеку, приходится задирать голову и тут же вскочить — он, оказывается, едва ли не великаном, голубоглазым, седым, с румяными, не по-старчески, щеками.

— Да, сюда. — Я называюсь, объясняю, зачем приехал, и, в свою очередь, осведомляюсь: — А вы кто?

— Карл Леонхардович, бригадир садово-огородной бригады, — представляется он, протягивая большую прохладную руку. — По совместительству — и смотритель музея...

Говорит он с едва уловимым акцентом, да и во всем его облике чувствуется что-то нерусское.

Легко, как бывает только в молодости, договариваюсь с Карлом Леонхардовичем о том, что ночевать буду у него, тут же подхватываю свой необременительный багаж.

— Председателя нашего колхоза видели?—по пути спрашивает Карл Леонхардович.

— Нет, потом как-нибудь. Да, вероятно, и необходимости в этом не будет.

— Дело ваше, — кивает Карл Леонхардович, кажется, что-то не договаривая.

Живет Карл Леонхардович здесь же, при музее, в деревянном пристрое, и странное, на первый взгляд, совмещение им столь разных обязанностей объясняется просто. Сад-заповедник принадлежит колхозу «Сибиряк» и одновременно является филиалом областного краеведческого музея.

— С чего же начнем? — спрашивает Карл Леонхардович. — С музея или сада?

— Конечно, с сада!

После прохладной комнаты на улице кажется еще жарче; если пристально смотреть, видно, как в воздухе струится марево.

— Сегодня тут тихо: выходной,—объясняет Карл Леонхардович. — А так-то много приезжают...

Мы проходим в калитку, делаем несколько шагов по желтой, обсаженной с обеих сторон сине-бархатными виолами дорожке и, кажется, попадаем в другой мир. Шумят высокие кроны сосен-дозорных; в зеленом сумраке листвы дробятся солнечные лучи, прохлада овевает разгоряченное лицо. На полянке, под развесистым дубом, высится, словно ледяной столбик, обелиск. На светлом мраморе высечены гордые некрасовские строки:

Воля и труд человека
Дивные дива творят.

— Здесь он и похоронен, — кивает Карл Леонхардович.

...Более полувека назад на правом берегу Иртыша, в сорока верстах от губернского города, появилась группа людей. Пожилая женщина и ее молоденькая сноха месили глину, клали саманные стены, отец и сын копали в голой осенней степи ямки, сажали в них коричневые прутики...

Станичники, изредка приезжавшие взглянуть на чудаковатого переселенца с Волги, только ухмылялись. Стоящее ли это дело — пытаться развести сад в Сибири? Картошка — вот сибирское яблоко, и коли так самим богом велено, то и мудрить нечего!..

Трижды свирепые сибирские морозы убивали посадки. Бывало, что деревца успевали окрепнуть, вытянуться, но все же каждый раз заканчивалось одинаково. Лютые, почти бесснежные зимы со звоном раскалывали трещинами землю, секли неокрепшие корни, и по весне на черных ломких ветках не зеленело ни одного листочка.

Стискивая зубы, садовод начинал все сызнова. К редким уцелевшим деревцам добавлялись новые; в зиму, словно малых детей, укрывали их ивовыми прутьями и засыпали с верхом снегом; доставлялись с почты полученные из Забайкалья посылки с саженцами дикой сибирской яблони, которую заманчиво было породнить с европейскими сортами. Семья работала от зари до темна, а по вечерам, когда одуревший от усталости сын забывался каменным сном и глухо, в забытьи, постанывали жена и невестка, выносившие в иные дни с Иртыша, в гору, по семьсот ведер воды, — поседевший за эти годы садовод зажигал «семилинейку», склонялся над свежими номерами журналов. Искал он в них всегда одно и то же — статьи о работах козловского опытника Мичурина...

Десятилетний каторжный труд, в конце концов, победил. Сибирские зимы оставались такими же суровыми, но в саду росли и плодоносили новые, не боящиеся морозов сорта, получившие простые звучные названия: Первак, Красавка, Сибирская бель... Фруктовые деревья разрослись; зацвели сирень и жасмин, зашумели узорные листья рябин и кленов, уверенно пошли в рост нежные южанки — туя и белая шелковица, заслоняя их от ледяных зимних и горячих летних ветров, встали по границам сада высокие сосны...

Слава о необычном саде, этом зеленом островке в степи, прокатилась по всей Сибири. В благодатный уголок на берегу Иртыша, напоенный медовыми запахами трав и цветов, хлынули толпы гостей. Самодовольно прогуливался по аллеям генерал-губернатор Степного края. Еще бы — не где-нибудь, а у него русский мужик победил сибирский климат!..

Молва о саде переходила из уст в уста и заинтересовала, наконец, ученые общества. Старый садовод с успехом экспонирует плоды своего труда на Западно-Сибирской выставке, на Юбилейной Всероссийской промышленной выставке; заслуги его оказались настолько блистательны, что его избирают почетным членом Императорского Российского общества садоводства и огородничества.

Но слава — вещь малопрактическая. Несмотря на почетные звания и дипломы, содержание сада и уход за ним по-прежнему тяжелым бременем ложились на плечи семьи: перебивались только за счет продажи цветов и ягод, и однажды задолженность за аренду земли достигла угрожающей цифры — почти трехсот рублей. То обстоятельство, что, получив по договору с Сибирским казачьим войском эту землю, садовод обязался к концу срока развести на двадцати десятинах сад и безвозмездно вернуть его, в расчет не принималось.

Подлинную цену показному вниманию садовод узнал несколько позже, когда в первые же недели империалистической войны на фронт забрали его основного помощника — сына. Старик заметался. Под силу ли ему одному ворочать такой махиной? Припоминая своих именитых знакомых, еще недавно охотно лакомившихся в саду, он писал письма, просил, умолял: верните сына!..

— Ну, и вернули? — поторапливаю я Карла Леонхардовича.

Прервав рассказ, он опускается на корточки возле кривой цветущей липы и зачем-то расшвыривает у ее основания землю.

— Нет, конечно, — Карл Леонхардович поднимает голову, приглашает: — Посмотрите сюда.

Я наклоняюсь, вижу какой-то бурый железный обруч, кольцом обхвативший широкий ствол дерева.

— Что это такое?

— Когда-то давно садовод начал выращивать липку в конном ведре, в комнате у себя. А потом срезал дно и пересадил ее сюда, в грунт. Стенки-то ведра давно сгнили, а обод остался...

Трогаю красно-ржавую полоску железа, и

смутное сознание того, что я зримо, предметно соприкасаюсь с чьей-то далекой жизнью — странно волнует.

— Да, здорово!

Мы обошли весь сад и стоим сейчас на его западной опушке.

— А там наш новый сад, — кивает Карл Леонхардович. — Посмотрите?

— Нет, нет! — отказываюсь я. — Пойдемте в музей.

В двух небольших комнатах музея жарко — окна выходят на южную сторону — и пустовато. Вдоль стен — новенькие, стеклом и краской поблескивающие стенды, да и все здесь, начиная с орехово-зеркальных полов, выглядит чересчур новым, сегодняшним. Ощущение достоверности, владевшее мной, пока мы ходили по саду, сразу исчезает; я недоуменно и равнодушно оглядываюсь.

— Прежний дом развалился, — объясняет Карл Леонхардович, поняв, должно быть, мое состояние. — А этот недавно поставили на том же самом месте. И внутри так же распланировали...

Первый стенд занят фотографиями; их тут добрых два десятка, но взгляд сразу же выхватывает главное.

В окружении офицеров и нарядных дам стоит босой, в холщовой неподпоясанной рубахе и холщовых штанах старик. У него седая окладистая борода и слившиеся с ней белые усы, красивый большой лоб. Офицеры и их спутницы улыбаются, старик смотрит куда-то вдаль — без улыбки, сдержанно, и, наверно, поэтому его лицо кажется самым интеллигентным и одухотворенным...

— А вот тут письма, — говорит за моей спиной Карл Леонхардович.

Я оборачиваюсь, горячо прошу:

— Карл Леонхардович! Разрешите, я все это сам посмотрю.

Карл Леонхардович коротко кивает, впервые в его голубых глазах мелькает улыбка.

— Ладно. А я пока в село схожу — нужно мне...

Он добавляет что-то еще — о ключе и кофе, но я уже не слушаю.

Все эти пожелтевшие фотографии, дипломы с двуглавыми орлами, листки тетрадей, исписанные мелким четким почерком, обладают, оказывается, удивительной особенностью. Они воскрешают минувшее, говорят живыми голосами.

...Нет, царские чиновники не вернули старому садоводу сына. Ворочаясь долгими бессонными ночами на постели, усталый, начавший глохнуть и слепнуть старик горько недоумевал. Как же так? Свое большое, трудное дело задумал он не для себя. Так почему же никто не хочет помочь? Неужели нет таких людей, кто понял бы его?..

Были, оказывается, такие люди.

В семнадцатом году разряженную губернскую знать, по воскресеньям заполнявшую чудесный сад, сдуло, словно ветром.

Однажды под вечер в сад приехали необычайные посетители — загорелые плечистые люди в бараньих папахах, с громоздкими деревянными кобурами поверх шинелей и кожанок. И что самое удивительное — заявились зимой, раньше в такую пору сюда и дороги не знали. Они обошли сад, поговорили, на прощанье крепко пожали старому садоводу руку.

— Береги, отец, сад. Это — народное добро.

Никто еще ни разу не говорил ему таких слов!

Но старик, на склоне лет своих вдруг живо начавший интересоваться происходящими в стране событиями, радовался рано.

Кровавой дорогой прошел по сибирской земле Колчак.

Откатываясь под стремительным натиском Красной Армии, белые свирепствовали. Глухо хлопали по ночам выстрелы карателей, вспыхивали пожары, по старому тракту тянулась серо-зеленая змея отступавших колонн, все пожиравшая и опустошавшая на своем позорном пути.

Старик стоял у сада, тревожно поглядывая на огромный клуб пыли, колыхавшийся над трактом. Через несколько минут стало ясно: отступавшие колчаковцы, ограбив крестьян, угоняли огромное стадо.

Вдруг одна из коров, круто свернув с дороги, легко перемахнула неглубокую канаву, огораживающую сад, бросилась в чащу.

Старик не успел еще понять, в чем дело, как голодные животные начали ломиться в сад. Он закричал, бессильно нахлестывая хворостиной по тощим бесчувственным бокам животных; упал, сбитый с ног, поднялся и снова упал. Позади трещали ветки, деревья.

От дома, размахивая палкой и крича, бежала жена, сноха и даже шестилетний внучек. Они пытались остановить, повернуть коров и ничего не могли поделать. В сад ввалилось голодное и ревущее полуторатысячное стадо, а у обочины дороги, зажав между колен короткие английские винтовки, покуривая и посмеиваясь, сидели солдаты.

...Я даже, кажется, слышу надтреснутый прерывистый голос «Мать, похорони... в саду»...

Непросмотренными еще остаются «Памятные тетради» садовода, стопка писем да несколько журналов, испещренных характерно четким почерком, — мне уж не до них.

Какое-то время я сижу неподвижно. Комнаты музея не кажутся теперь пустоватыми: они плотно заселены минувшим. Стараясь почему-то не скрипеть ботинками, выхожу на крыльцо, прочно, на два оборота, поворачиваю в двери ключ.

Солнце склоняется к закату, — сейчас оно повисло над садом и, кажется, вот-вот сорвется в его густую зелень. По-прежнему постукивает над обрывом движок, и его ровные хлопки на какое-то мгновенье возвращают к действительности. Все так же жарко; между деревьями мелькает чья-то фигура, я пытаюсь разглядеть, не Карл Леонхардович ли это, и тут же равнодушно отворачиваюсь. А что мне сейчас до него? Обычный, каких множество, человек...

Не зная, зачем—для того ли, чтобы избавиться на время от переполнивших меня впечатлений, наоборот ли — для того, чтобы не растерять их, — я забираюсь в самый дальний угол сада, сажусь на скамейку.

Ощущение такое, словно сейчас ветви раздвинутся и на поляну, озабоченный и быстрый, выйдет коренастый, в холщовой рубахе человек, — чем-то очень похожий на старого Льва Толстого.

2

— Вы, значит, приезжий и есть?

Я вздрагиваю, оборачиваюсь.

Коренастый человек в защитном кителе, синих галифе и хромовых сапогах изучающе смотрит на меня черными неулыбчивыми глазами. Его крупная голова тщательно, до блеска, выбрита, чисто выбриты щеки и тяжелый подбородок, и, наверно, поэтому на загорелом лице так резко выделяются брови—настолько черные и широкие, что в первое мгновение они кажутся ненастоящими.

— Ну что ж, — мельком взглянув на редакционное удостоверение, говорит он, — давайте знакомиться. Мельников, Максим Петрович. Председатель колхоза «Сибиряк»...

У него большая сильная рука, крепкое энергичное пожатие. Мне это нравится: не люблю безвольных вялых рук, безучастных, как лягушка.

— Как же вы меня здесь нашли?

— Я тут дома, — усмехается Мельников, и объясняет: — Карла Леонхардовича в селе видел.

— Кстати, — он латыш?

— Эстонец.

— Симпатичный человек.

— Не то слово, — поправляет Мельников.— Золотой человек.

Золотой — это, по-моему, сказано слишком сильно; я молчу, но, видимо, каким-то непроизвольным движением или взглядом выдаю себя. Широкие брови Мельникова сдвигаются и снова расходятся.

— Что же вас интересует?

— Буду писать очерк о старом садоводе. Вашему саду скоро исполняется шестьдесят лет, и нужно, чтобы люди вспомнили о его создателе.

— Добро. Великое дело человек сделал.

Слово «великое» он произносит ровно и спокойно, и должно быть поэтому оно звучит так внушительно и весомо; будничный тон будто возвращает примелькавшемуся слову его первородное значение.

Брови Мельникова снова — на этот раз поиному, одобрительно — приподнимаются. Разговариваем мы не более пяти минут, но уже ясно, что не глаза этого человека, а именно брови лучше всего выражают любое внутреннее движение — недовольство, согласие, вопрос, в то время как глаза остаются все такими же спокойными.

— Новый наш сад видели?

— Не успел еще.

— Пойдемте, покажу.

Новый сад отделен от старого неглубокой, заросшей травой канавой, почти сразу же за ней начинаются ровные ряды яблонь. Приземистые, в белых известковых чулочках, деревья усыпаны некрупными, начавшими розоветь яблочками. Отличается новый сад от старого четкой планировкой, и оттого здесь кажется скучнее. Там — нетронутые, оставленные в прежнем виде, заросли; здесь — словно по линейке размеченные квадраты, где вряд ли уже сыщется укромный, полный очарования уголок. В траве, как синяя змейка, тянется гофрированная труба.

— А это зачем?

— Для поливки. Из Иртыша гоним.

— Вот это хорошо. Раньше на коромыслах носили.

— Другие времена — другие песни.

Гофрированная труба, словно тропинка, выводит к теплицам. Стеклянные рамы с них сняты и сложены высоким штабельком. Только что политые, остро попахивающие плети прилипли к черной мокрой земле и, словно напоказ, выставили все свое богатство — от блед-

ных пуплышков до ядрено-зеленых, в бородавочках, огурцов. У меня дома, на крохотной грядке под окном, огурцы показали только первые желтые звездочки цвета...

За теплицами начинается полоса саженцев — коричневые голенастые прутики с кудрявыми верхушками стоят вплотную друг к другу, как ежик.

— Питомник, — не оборачиваясь, указывает Мельников.

— Куда вам столько?

— Обеспечиваем всю область, — так же лаконично поясняет Мельников, трогая пригибающиеся под его широкой ладонью маковки. — По завету...

Сад кончается: впереди километра на три, до самого села, темнеющего купой высоких ветел, зеленеет картофельное поле. Я не сразу вижу, что метров на сто, прямо по картошке, разбежались рядками тоненькие саженцы — замечаю их после короткого кивка своего провожатого:

— Года за три до села думаем дотянуть.

— Ох, далеко!

— Попробуем...

Укромные уголки можно, оказывается, отыскать и в новом саду.

Обогнув на обратном пути питомник, мы выходим к густой заросли малины. На ветвях, сквозь резные листочки, проглядывают бледно-розовые, а то и совсем уже красные ягоды,—стоит только, кажется, дотронуться, и они сами посыплются в ладонь. На секунду я даже замедляю шаг, но Мельников идет, не останавливаясь, и я с сожалением догоняю его.

— Теперь сюда, — говорит председатель и сворачивает.

Со стороны похоже, что он лезет прямо в малинник, только чуть разводя в стороны желтые, в колючках, ветки, но под ногами вьется тропинка. За кустами разговаривают.

— Вот он, пропащий, — слышится грудной женский голос. — Голодом заморил!

— Знакомьтесь, — пропуская меня вперед, говорит Мельников, — корреспондент из газеты.

На поляне, под молоденькой, кажется, случайно забежавшей сюда березкой, сидят розовощекий военный и две женщины; от растерянности я даже не успеваю разглядеть их лица, хотя сразу же замечаю накрытую на траве скатерть.

— А это моя родня, — представляет Мельников, каждый раз кивая.—Племянница. Муж ее. И моя супруга.

— Лейтенант Егоров, — проворно вскакивает военный, весело встряхивая льняными волосами. — А попросту — Андрюша.

Андрюша — к нему действительно подходит больше. Румяный, юный, даже мне он кажется очень молоденьким: и хотя на его голубых погонах — золотые крылышки летчика, не верится, что он может управлять самолетом.

Жену его зовут Олей. Она еще моложе мужа, тоненькая с короткими светлыми кудряшками и круглыми от любопытства глазами.

— Надежда Ивановна, — произносит жена Максима Петровича и неторопливо наклоняет голову.

С Олей она чем-то схожа — нежным ли подбородком, одинаковой ли горделивой посадкой головы, но то, что у Оли еще не устоялось и поминутно на ее по-девичьи подвижном лице меняется, у Надежды Ивановны приняло законченную зрелую форму. На вид ей лет тридцать, она, конечно, значительно моложе мужа. Светлые, широким пробором надвое разобранные волосы, белый, мраморной чистоты лоб, тронутые легким загаром щеки, свежие, не нуждающиеся в помаде губы, большие серые глаза, умные, сдержанные, и признаюсь — ушедшие в сторону от моего, должно быть, слишком любопытного взгляда. В белой кофточке и синей шерстяной юбке, плотно обтянувшей полные колени, она сидит, облокотившись на правую руку, и непринужденная, с ленцой, поза подчеркивает ее стать.

— Долго же вы ходили, — насмешливо говорит она. — Картошка уж, наверно, остыла.

— Долго ли, коротко ли, а пришли, — добродушно отвечает Максим Петрович. — А коли пришли, то и спочинать можно.

Надежда Ивановна разматывает укутанный полотенцем чугунок, простодушно-удивленно восклицает:

— Смотри — дымится!

— Ну, со встречей, со свиданием, со знакомством, — подняв стопку, говорит Максим Петрович и коротким быстрым движением выплескивает ее содержимое в рот. Выдохнув, крутит головой: — Силен, спиртишка!

Слова о спирте звучат для меня предупреждением: живу в Сибири второй год, но спирта, предпочитаемого коренным сибиряком любому другому горячительному, не пробовал ни разу. Пока я, остерегаясь, держу стопку на весу, Андрюша лихо взмахивает рукой и ошарашенно помаргивает длинными белесыми ресницами. Оля потягивает какое-то сладенькое винцо; я, по ее примеру, решаю было попросить замену и случайно встречаюсь взглядом с Надеждой Ивановной.

Усмехнувшись, она ровно выпивает свою стопку и вкусно начинает грызть огурец. Щеки у нее чуть розовеют, но на лице ни малейшей гримасы, только все так же насмешливо — теперь в упор на меня — смотрят большие серые глаза.

Спасает меня только неоднократно слышанный и впервые примененный совет: выпив, немедленно выдохнуть.

— Ну, как, птица небесная? — посмеивается Максим Петрович.

— Я что! — хорохорится Андрюша. — Я по-чукотски могу — под рукавицу!

— Ой, хвастун! — хохочет Оля. — А сам красный, как рак!

— Ничего, со встречи можно. С Чукотки ведь в отпуск прилетели, — кивает Максим Петрович. — Да и мне раз в году выходной можно устроить. Начнется уборка, закрутишься — так опять, считай, на год... — Он подвигает мне закуску, улыбается. — Не сибиряк, выходит?

— Нет, — мотаю я головой. — Я родом с Украины.

— Да ну? — удивляется Мельников. — Земляки, выходит. — Лицо его почему-то становится грустным. — А жарко что-то...

— Разденься. Вон человек, — Надежда Ивановна кивает на меня, — в одной рубашке. И что ты все в этом кителе? И в будни и в праздник.

Солнце давно закатилось, воздух по-вечернему начинает синеть, но по-прежнему жарко. Скорее не жарко, а душно, и даже зелень, словно израсходовав за день свою прохладу, дышит сейчас сухим теплом.

— Совет добрый, — соглашается Максим Петрович. — А китель, что ж — вроде формы он. Как заведено...

Максим Петрович снимает китель, и я невольно любуюсь его сложением. Голубая майка, влажно потемневшая под мышками, врезается в крепкое загорелое тело и, кажется, вот-вот треснет. Он ложится на землю, раскинув мускулистые руки, довольно крякает.

— Хорошо!

— Смотри, не простудись, — предупреждает Надежда Ивановна.

— Сказала! — Максим Петрович ласково похлопывает ее по руке. — Я мальчишкой, бывало, спал на земле. С того, видно, таким дубом и вырос...

— А у нас на Чукотке летом как? — бормочет Андрюша, удобно устроивший голову на коленях жены. — Сверху жара, хоть нагишом ходи. А ноги и через унты прохватывает. Мерзлота!..

— Дядя Максим, спойте, — неожиданно просит Оля.

— С чего это? — усмехается Максим Петрович.

— Ну, спойте, — настаивает Оля.

В горле гореть у меня давно перестало, душой овладевает удивительное спокойствие, и мне становится радостно оттого, что я познакомился с такими простыми, хорошими людьми. Мысль эта кажется настолько важной, что я тороплюсь поделиться ею. И вдруг замолкаю на полуслове.

— Мисяц на неби,
Зореньки сьяють...

Это, заглядевшись в синеву, запел Максим Петрович.

Ах, братцы, — какой же у него голосище! А он еще придерживает его, поет вполсилы, — то ли вспоминая, то ли рассказывая, и чуточку — жалуясь. Песня проникает в самое сердце, — в груди у меня холодеет.

Тихонько, как ручеек рядом с полноводной рекой, льется негромкий Олин голос; фальшивя, старательно подпевает ломаным баском Андрюша; невольно, вовсе уж не умея, пытаюсь подтягивать и я. Не поет только Надежда Ивановна. Она сидит, плотно сжав губы, с каким-то отрешенным выражением лица.

Захваченные песней, мы, наверно, мешаем песне же, но сейчас это не имеет никакого значения...

Чорни, як почка,
Ясни, як дэнь...

— Добрая песня, — вздыхает Максим Петрович, вытирая ладонью повлажневшие глаза.

— Дядя Максим! — взволнованно говорит Оля. — Вам певцом надо было стать!

— Ну уж, скажешь, — ласково-смущенно посмеивается Максим Петрович. — Песни я свои отпел уже...

— Рано в старики записываешься, — говорит Надежда Ивановна, и ее грудной голос звучит сейчас глуховато. — Собираться давайте. Сашку пора укладывать.

— Бабушка уложит, — неуверенно протестует Оля.

— Бабка бабкой, а я мать, — с вызовом возражает Надежда Ивановна.

— Ну что ж, можно и по домам, — соглашается Максим Петрович и встает.

Женщины собирают в сумки посуду, сворачивают скатерть, и мы идем по темному

молчаливому саду какой-то новой тропкой, напрямик.

— Надюш, — негромко окликает Максим Петрович, — знаешь что? Вы ступайте, а я с товарищем побуду.

— Чего ты выдумал? — спрашивает Надежда Ивановна. — Товарищу отдыхать пора. Завтра наговоритесь.

— Завтра с утра в район. В том-то и дело.

— Ну, смотри.

Мы прощаемся: белая кофточка Надежды Ивановны мелькает между деревьями. Максим Петрович некоторое время смотрит ей вслед, потом предлагает:

— Пошли, земляк, искупаемся.

3

Вблизи у воды поначалу кажется светлее. Темно-синий Иртыш бесшумно катит свои воды и только у самого берега, наплескивая на песок, чуть различимо шуршит мелкой катаной галькой. На противоположной стороне, вдали, струятся огоньки.

— Посидим, в воду сразу нехорошо, — говорит Максим Петрович.

Мы садимся на сухой теплый песок и, точно по сговору, закуриваем — каждый от своей спички. Царит глубокое, какое-то всеобъемлющее безмолвие; только изредка сонно плеснет рыбина, и четкий, над всей рекой проносящийся звук подчеркивает тишину летнего вечера.

— Тихо, — думая о чем-то своем, негромко роняет Максим Петрович. — Теперь уж тихости такой люди, как прежде, не верят. Иной раз вспомнишь, что перед войной вот так же тихо было, да голову ненароком и задерешь. Не воет ли опять там что?.. Я вон в книжке одной читал, про старину. Люди пашут, а на меже ружья лежат...

— Ну, и что?

— А то, что и нам так жить приходится. Живи, работай, а все настороже держись.

— Вы на фронте были?

— Я-то? Нет, не был...

От долгой затяжки папироса Максима Петровича разгорается, крохотный малиновый огонек выхватывает его сосредоточенное лицо. — Разве война тех только достала, кто на фронте был? Когда подумаешь — иному убитому легче пришлось...

— Вряд ли, Максим Петрович.

— Верно говорю. Беда не одно только тело уродует. Когда она навылет через душу пройдет — хуже бывает...

Я понимаю, что говорим мы сейчас по-разному: я — безотносительно к чему-либо конкретному, Мельников — имея в виду, возможно, что-то очень личное.

— Почему вы меня земляком назвали?

— Земляком-то? — оживляется Максим Петрович. — Потому, что земляки мы с тобой, получается. Я ведь тоже с Украины. Ты откуда родом?

— Из-под Сум.

— Вот видишь, а я из-под Чернигова. Рядом, выходит, — прикидывает Максим Петрович и с какой-то нетерпинкой спрашивает: — Давно там был?

— Давно, Максим Петрович. Родился там только, мальчишкой увезли. За родину-то Пензу считаю. А Украины и не помню совсем...

— А я помню! — с какой-то стремительной наболевшей быстротой говорит Максим Петрович, вгоняя окурок в песок. — Да ведь как помню! Закрою глаза, и словно вот она передо мной, рядышком! И хаты наши белые вижу, и аиста на крыше, и черешня как цветет — ноздрями чую! Веришь: иной раз услышу нашу песню по радио — аж глаза мокрые становятся. Дубом вот уродился, а поди ж ты! Вон как в зажигалке: из кремня искру вышибает, так и песня у меня из глаз — слезу!

— Взяли бы да переехали.

— Не просто. И тут душой прирос. Семья, сын вон, Сашок, растет...

По крутой обрывистой тропке кто-то спускается, слышно, как сухая земля скатывается вниз.

— Карл Леонхардович, похоже, — вглядываясь в темноту, другим, спокойным голосом говорит Максим Петрович. И снова, не замечая, переходит с доверительного ты на равнодушное вы. — Вас, наверно, ищет...

Сильно близорукому, мне кажется, что высокая фигура выдвигается из темноты как-то сразу, неожиданно; на фоне темного неба она кажется еще массивнее.

— Вот вы где, — не удивляясь, говорит Карл Леонхардович. — Добрый вечер.

— Садись, Карл Леонхардович, — приглашает Максим Петрович.

— Нет, нет, поздно уже. Я вот товарища ищу — проголодались, наверно?

— Спасибо, Карл Леонхардович. Я так поужинал, что два дня не захочу. Купаться еще будем.

— Ну, смотрите. А я сходил мяса выписал, приготовил. Захотите — на столе будет стоять. Кофе — в кастрюле.

— Спасибо, Карл Леонхардович.

— Огурцы завтра, Карл Леонхардович, собирать надо, — напоминает Максим Петрович. — Да отправить. А то похвастались и четыре дня не сдаем. Порядочно их там.

— Машина в пять утра придет, знаю, — кивает Карл Леонхардович.

Несколько минут председатель и бригадир говорят о своих колхозных делах, потом Карл Леонхардович прощается.

— Ну, спокойной ночи, пойду. Дверь открыта будет, мы тут не запираемся.

Плотная фигура Карла Леонхардовича растворяется в темноте, некоторое время слышится его учащенное — в гору — дыхание, потом снова все стихает.

— Скупые мы какие-то на хорошее слово, — задумчиво говорит Максим Петрович. — Вроде о человеке хорошо сказать можно только, когда он — покойник. В саду я тебе давеча про Карла нашего сказал — золотой, мол, человек. А тебе, я заметил, не понравилось. Он тебе-то про свою жизнь не рассказывал?

— Нет.

— А ты сам не попытал?

— Нет, не попытал, — повторяю я чем-то понравившееся мне слово.

— Вот видишь как: живем рядом с хорошими людьми, а чем они хороши — и узнать нам неохота. А их, настоящих-то людей, коль поглядеть — много. И не все они обязательно на виду да с орденами. Иной вот, как и он, — вовсе незаметный, а цена ему — не меньше... Ты ему сколько лет дашь?

— Ну, лет пятьдесят, пятьдесят пять.

— Сказал! Седьмой десяток доходит.

— Ну да?

— Вот тебе и ну да! — удовлетворенно хмыкает Максим Петрович. — Ты вот о старике писать приехал, а Карл Леонхардович еще в двенадцатом году его на выставке видел.

— Не может быть! — ахаю я. — Максим Петрович, расскажите!

— Об этом сам спроси, а вот о жизни его рассказать могу. Девятый год наши тропки рядом бегут...

Собираясь с мыслями, Максим Петрович задумчиво потирает бритую голову.

— Работал я тут первый год председателем, тоже с эвакуации. Вот мне раз и звонят из города. Специалиста, спрашивают, не возьмете? А я не только специалисту — любому бы завалящему мужичишке рад был. По всей деревне из мужиков только я да парторг мой, Седов. Его-то уж и за мужика считать нельзя было. Хворый, душа в нем только на злости и держалась — все хотел дождаться, пока Гитлеру конец придет. Вот и весь наш мужской состав. А остальные — бабы, девки да ребята малые, сам понимаешь... В общем — давайте, говорю, за ради бога, специалиста этого, со всеми потрохами беру! А условия, спрашивают, создадите? Ну что, мол, за вопрос — озолотим! А сам, помню, сижу в замызганном ватнике в правлении, в окне по стеклу капли с кулак ползут — тоска...

Под вечер приезжает. Дороги развезло, осень, хлябь, так он до нас на какой-то попутной доходяге весь день ехал. С телеги слез — грязный, синий, а смотрю — в галстучке. Одним словом — наш Карл Леонхардович. Сейчас-то он хоть и постарее, да справный, гладкий. А тогда посмотрел бы — кожа да кости, это при его-то росте, представляешь? Под глазами — синь-темно, кожа на лице, скажи, как у замороженного гуся, висит, один только нос в натуральной величине. В общем, не работу с него сейчас требовать, а на поправку ставить... Глянул я на его документы: ученый садовод из Эстонии, в ихнем наркомземе работал. Ну что ему, думаю, у нас делать, ученому-то! Сад наш в ту пору заплошал, руки не доходили; только когда ранетка поспевала, о нем и вспоминали.

Ну, делать нечего — приехал, назад не отправишь. Да и человек, вижу, с дороги вконец измучился. Как сел против меня на табуретку, так и сидит, не шелохнется, словно не живой. Только вода с плаща стекает, об пол постукивает. А тут мне галстучек его опять в глаза лезет: не колхоз тебе, думаю, а кабинет с секретаршей. Не работник мне, а обуза!..

Стал я раскидывать, куда его на квартиру определить, да так ничего и не надумал. Сам без году неделя в селе, а сибиряки, знаешь, народ не простой. Скрытный, гордый. Пока ты его в себе не убедишь, он перед тобой ни дома, ни души нараспашку не раскроет... Одним словом, повел я его к себе. Квартировал я тогда у Седова, у парторга. Старуху он свою вскорости, как война началась, похоронил, дочка в городе в институте училась, вот я у него и обосновался. Сам я в ту пору неизвестно кто был: ни вдовец, ни женатый. В общем, самая подходящая компания: один топчан стоит, другой, думаю, поставим, и вся недолга...

Привел, усадил, начинаю, было, на кухне Ивану Осиповичу, это хозяину-то, объяснять потихоньку, как да что, — без спроса ведь привел. А он мне тоже негромко: не

болтай зря, сам вижу!.. Захлопотал, картошки наварил, капусты соленой принес, откуда-то заповедную пол-литровку достал — все чин чином... Ну, сели мы, поели, выпили. Молчит наш гость. Я ему про колхоз рассказал, про то, как мы тут с бабами бедуем, — молчит. Про сад ненароком помянул, скажи ведь — как подменили человека! Голос подал, глаза вроде ожили, — а то, как у мертвеца, стылые были. Я, говорит, потому сюда и просился, что сад у вас есть. Давно, говорит, о нем знаю — до революции на какой-то выставке и старика видел. Вот тут, с натугой, по словечку, кое-что мы с Иван Осиповичем про него и узнали. Бумажки-то я его видел, так разве по бумажкам человека поймешь?.. Всю жизнь садами занимается. До того, как Эстония к нам подключилась, сад у него свой был, двух работников держал. Рассказывал — чего только в том саду у него не было, все опыты ставил. Работу печатную на своем языке выпустил. И подумай ведь: сам государству сад отдал. Сначала в нем заведующим остался, потом в наркомзем перевели — большим человеком был. И тут его, как эвакуировался, в облсельхозуправление брали, да отказался. К саду, говорит, поближе... Сказал вот так, и вроде спохватился. Вы, говорит, товарищи, не думайте, что я опытами к вам приехал заниматься. Понимаю, что за время, и делать буду все, что велите...

Семья, спрашиваю, есть или один вы? Опустил голову, молчит, сгорбился, словно я его ненароком ударил. Погибли, говорит, под бомбежкой... Да ведь подумай, как страшно бывает! Получил машину, мчится на ней домой, чтоб на вокзал ехать, подъезжает, а дома нет. Напрочь бомба снесла!.. Карточки начал показывать, достает из бумажника, а руки трясутся...

Поднивился я, помню, на него. У меня тогда хоть надежда была, что семья жива, а у него — одни карточки. Ничего, считай, — ни дома, ни семьи, седьмой десяток пошел, к концу дело, а он про сады говорит. Что ж, думаю, за сила такая в человеке скрыта? Это я не только о нем — вообще о человеке... Не знаю, понял он тогда, что ли, о чем я думаю, глянул своими глазищами и говорит: пока человек дышит, смысл его жизни — в труде. Сформулировал, в общем!..

Вышел я покурить, дома-то остерегался — легкими Иван Осипович маялся, кашлял, — сел под навесом, гляжу, и парторг мой сюда же направляется. Сел рядом на бревнышке, послушал, как дождь по крыше барабанит, и мне: «Ты вот что, Максим. Сразу-то на него не наваливай, пусть в себя придет. А с весны пускай своим делом займется. Крутились без него, как-нибудь и опять перекрутимся. А глядеть вперед надо. Хреновые мы с тобой хозяева! Знаменитый сад, а загажен так, что смотреть стыд!..» Ладно, говорю, — не понимаю, что ли. Пусть отлежится...

Вернулись в избу, легли, а сон-то, слышу, не берет никого. Иван Осиповичу кашель уснуть не дает, гость на топчане ворочается, вздыхает, а я смотрю в черный потолок и былую жизнь свою вижу...

Таким вот порядком и стали жить — три медведя в одной берлоге. Бабы, как дела на фронте веселей пошли, подшучивать стали. Непорядок, говорят, председатель: всех мужиков под одной крышей держишь. Засохнем так. По разверстке бы, что ли, вас распределяли... Живучий у нас народ! Вчера, глядишь, чуть не все село голосило — похоронную прислали, а нынче опять зубы скалят. Иной раз по глупости на шутки сердился даже: бесчувственные, что ли, думаю! Сам я в ту пору трудно жил: знаешь, как бывает — вроде завернули тебе гайку до отказа, на том и держишься, сорваться боишься!

Теперь иногда вспомню и, знаешь, о чем думаю? Тогда меня они и выручили. Иван Осипович-то и Карл Леонхардович. Словно за руки вывели. Поглядишь на них бывало — один хворый, костьми гремит, а все ходит, все с народом, все, как получше сделать, прикидывает. Другой — гол, как сокол, один, как перст, а работает так, что я, уж на что двужильный, и то уступал. Посмотришь на них, и стыдно за свою минутную слабину станет...

Ты думаешь, Карл-то наш с приезду отдыхал сколько-нибудь? Переспал, а с утра как встал в амбаре за веялку, так всю осень и зиму рядовым колхозником и отстоял. Зерно подрабатывал, корма возил, кормушки новые на фермах мудрил и все за то, что потяжелей, хватался, все девкам и бабам облегчение сделать хотел. Вот тебе и ученый! А на лице у этого ученого одни глаза да нос остались — сам понимаешь, харчились не больно... Иной раз так посмотришь, скажешь: ты, Карл Леонхардович, не надорвись, не молоденький. Рукой только махнет. «Я, говорит, не помещик, а работник, с тринадцати лет работаю!»

Не думай, однако, что про сад он забыл. Ого! За зиму от села до сада такую тропку проторил — что твой большак! А с марта как солнышко пригревать стало, совсем туда перебрался. Сейчас уж хибары этой нет, а то бы поглядел, что за терем стоял! За два воскресенья поставили... Вот в нем, значит, свое цар-

ство Карл-то наш и обосновал. То в сад бежит — чего-то поправляет, подрезывает, то в терем свой несется, рассаду поливает: все окна и стол ящиками заставил. Снег сошел — тепличку на поляне устроил, к тому времени огурцы у него третий лист выбросили. Не такая, конечно, как нынешняя, а все — теплица. Новое это дело для наших мест было, и старые и малые — все переглядели. Из клинышков, а застеклена, бабы на селе лук еще на зелень не сажают, а у него огурцы цвет показали. И что ты думаешь? В начале мая отвезли мы в госпиталь пять килограммов свежих огурцов. Нам оттуда — благодарность, заметку в газете написали — на всю область прославились. Теперь-то у нас это привычно— десятками килограммов овощи ранние сдаем, любой захотел, выписал и—получай. А те первые огурцы мы чуть не поштучно актировали, чуть не фотографировали каждый, не то что там попробовать!

Летом мы этот же самый госпиталь ягодами да яблоками снабдили. Не знаю уж, — то ли наш главный садовод поработал, то ли год такой выдался, но ирги и ранеток в то лето первый раз столько собрали! И на базаре тут уж поторговывать начали. Народ-то увидел, что баловство доходом обернулось, общим миром и порешили: со следующей весны Карлу помощника выделить. Вот тут-то уж он крылья расправил! Теплиц прибавили, фруктовые деревья подсаживать начал — с тех пор и пошло. Не думай, конечно, что все так гладко и получилось, как я тебе рассказываю. Всякое бывало. Всыпали мне сначала за нашего ученого так, что ого!..

— За что?

— Да мало ли за что! В области ведь как? Отправили человека, и дело с концом. А надо мной тут в районе — начальник над начальником. Провел я Карла Леонхардовича на второй год бригадиром—мне от начальства по шапке. Фикция! Бригады — нет, а бригадир есть, трудодни расходуешь! Порешили на общем собрании часть средств вложить на расширение сада — председателю опять по шапке. Про-жек-терство! Время, мол, не то— война, не до этого. Спасибо еще, Иван Осипович добрым словом поддерживал. Надают вот так, надают, — явишься домой, как проперченный, а парторг свое: «Не уступай, Максим, кровь из носу, а не уступай!» Да ведь тяжело говорю, Иван Осипович! А он ругается: «Ты вон какой бугай здоровый — сдюжишь, не для себя стараешься!»

Ну, вот так и старался, как мог. Зато, не хвалясь, скажу тебе: другие колхозы в районе за четыре-то года войны повытягивались, а наш, если не полной чашей фронтовиков встретил, — то около того. Даром, что против других вдвое всего сдавали. И плюс к тому— овощи да фрукты...

Отгуляли мы Победу, смотрю — стал мой Карл Леонхардович задумываться. Как прикину, бывало, что уехать может — прямо не по себе станет. Размахнулись мы тут с садом да теплицами широко, вперед если заглянуть — так еще круче размахнемся. Уедет в такое время — как косой по ногам. А как не отпустишь, скажи?.. Ну, он молчит, и я молчу. Потом невтерпеж стало — пришел к нему, сел, поговорили о том, о другом, я напрямик и спрашиваю: бросишь нас, Карл Леонхардович?.. Подает он мне письмо какое-то, — читаю и вижу, что конец нашей работе приходит. Пишет ему зам. министра сельского хозяйства республики, назад зовет. Письмо почтительное: начинается — «Дорогой Карл Леонхардович», заканчивается — «с искренним уважением». Что тут поделаешь — сам все понимаю. И так это бодренько ему: «Ну что ж, Леонхардыч, прощаться, видно, будем?..» Опустил голову, по столу пальцами стучит. Долго молчал, а сказал коротко: «Нет, не будем». Я, конечно, возликовал, а виду не подал. Не понимаю, говорю, Карл Леонхардович, — какой тебе резон оставаться? Смотрю — нахмурился мой главный садовод. «А такой, говорит, смысл. Привык я тут, с садом до конца не довели»,—и засмеялся—легко этак как-то. «Человек я, говорит, старый, а тут на свежем воздухе, смотришь, и подольше поживу. Трудно, говорит, мне сейчас в кабинетах высиживать». Веришь — ну, прямо обнял бы его в эту минуту, жаль не приняты у мужиков такие нежности. Стукнул я его на радости по плечу так, что он чуть со стула не свалился; он — меня, так и объяснились...

Максим Петрович смущенно усмехается, и тут же грубовато упрекает:

— А ты не веришь, что до села сад дотянем? Хвастуны, мол, да?

— Верю теперь, Максим Петрович.

— То-то — верю! С такими людьми землю перевернуть можно, не то, что сад развести!

— Что же, так он в Эстонии больше и не был?

— Почему не был? Два раза в отпуск ездил. Съездит, старых товарищей повидает, приоденется, и домой. Он у нас, знаешь, какой модник! Видал — в каком костюме ходит? Это в будни. А погляди на него в праздники, или когда в город в театр соберется. Макинтош, шля-

па, галстук, одеколончиком сбрызнется, — все, как надо.

— Как вы ему, интересно, оплачиваете — на трудодни?

— А что, по-твоему, на трудодни жить нельзя? Ты же не спросил, какой у нас трудодень — тощий или подходящий? — подтрунивает Максим Петрович. — Прежде трудоднями оплачивали, а теперь специалистам зарплата установлена, — тысячу в месяц получает. Продукты ему по себестоимости отпускаем — копейки. Премии получает. Так что без нужды живет. Да и расходовать-то ему куда? На кофе только. — Максим Петрович усмехается. — Вот страсти не пойму! По мне уж так: сладкое — так сладкое, горькое — так горькое!

— Привычка. А мы чай пьем.

— Да это так, конечно, — равнодушно отзывается Максим Петрович и, по каким-то своим ассоциациям, возвращается к началу нашего разговора.

— Вот, а ты говоришь — уезжай. Не простое дело. Видал, как человек прирос? А у него ведь никого тут нет!—Максим Петрович вздыхает. — Правда, и там никого нет... Иной раз, знаешь, что говорит? Старика, говорит, в его саду похоронили, а меня, как умру, — похороните в новом саду.

Максим Петрович встает, с хрустом расправляет плечи.

— Шутка, конечно, а я, знаешь, что, бывает, думаю? Доведись вот так — помрет, старый ведь человек — поставлю ему памятник! Кровь из носу, а поставлю! Ты посуди: ученым ставят, писателям ставят. А такой, как наш Карл, не заслужил, думаешь? За всю свою жизнь, с тринадцати лет землю украшая?

— Заслужил, Максим Петрович.

— И я думаю — заслужил, — веско говорит Мельников и, как-то сразу меняя тон, деловито спрашивает: — Купаться-то будем?

— Давно пора.

Мы раздеваемся, сходим в теплую чернильную воду.

Весело гикнув, Максим Петрович ныряет и потом, пофыркивая, плывет куда-то в густеющую темноту.

Я плещусь у берега, с удовольствием ощущая телом упругие толчки сильного течения, невольно думаю о том, что рассказал мне Максим Петрович. Нет, плохо я еще разбираюсь в людях. Желтые ботинки на Карле Леонхардовиче заметил, а человека проглядел. Что это — по молодости?

4

Максим Петрович трет носовым платком бритую голову, добродушно ворчит:

— Никак к этой лысине не привыкну. Вроде коленки голой!

— Что, недавно разве брить стали?

— С полгода. Раньше-то у меня, знаешь, чупрына какая была!

— Зачем же сняли?

— Врачи велели. Лысеть, понимаешь, начал. Да глупо как-то. У других, посмотришь, лысина — как лысина. А у меня пятнами пошла.

— Почему так?

— А шут ее знает! Говорят — на нервной почве.

— Вот уж на нервного вы не похожи.

— Вид, говорят, верить не велит. По виду и дурак за умного сойдет.

Приговаривая таким образом, Максим Петрович ложится, забрасывает руки под голову и смотрит в незаметно вызвездившееся небо. Звезд еще немного, но от их тусклого мерцания становится светлее. Я смотрю на реку, и мне видно, как у самого берега на черной воде покачивается звездочка...

— Тебя как — жизнь еще не мяла? — неожиданно спрашивает Максим Петрович.

В моем возрасте горести и неудачи забываются легко: настоящую цену им человек узнает позже, перевалив какой-то жизненный рубеж, и тогда нередко оказывается, что прошли они для тебя далеко не бесследно. Сейчас же отвечаю:

— Да нет, вроде, — и спрашиваю искренне: — А разве это обязательно?

— Это хорошо, — не обратив внимания на вопрос, говорит Максим Петрович. — Дивлюсь я иногда, брат ты мой, на человека. Огромная сила ему дадена, если разобраться. Иной раз жизнь исподтишка так стукнет, что он — и с ног долой. Ну, думаешь, и не вздохнет больше, не то что там подняться. А он, глядишь, перемучился, поднатужился — и опять на ногах. Да еще крепче, чем прежде, стоит,—вот ведь фокус какой! Это я, к примеру, о том же Карле нашем, а когда прикинешь, бывает,—и к себе подходит...

Вздохнув, Максим Петрович просто говорит:

— Вторая ведь это у меня семья.

Я молчу, чувствуя, что любой вопрос может прозвучать сейчас бестактно; Максим Петрович садится, закуривает, — желтый огонек освещает на мгновение его лицо.

— А все война... Говорил я ведь тебе — на Украине жил. Председателем так же работал, голова — по-украински... Хозяйство у нас доброе было, народ уважал, вроде. Перед самой войной медалью наградили. «За трудовую доблесть». Мне ее сам Михаил Иванович Калинин в Кремле из рук в руки передал... Ну, да не об этом я... Жил, говорю, так, что лучше и не хотел. Дом — чаша полная, семья... — Наполняемый чувством, голос Максима Петровича звучит неспокойно. — Жинка у меня редкой души была; выше всякой награды ее считал!.. Слыхал такую песню? «У моей чароньки завси готови билое личико тай чорни брови...» Это вот про нее писано!.. Сколько лет уж замужем была, а веришь — парубки заглядывались. Веселая, певунья — ну, скажи, как птица! и работница. В хате и так все, как стеклышко, блестит, а она прибежит с поля, и моет, и чистит, белит! Поглядишь на нее, бывало, скажешь: «Оксана, да посиди ты, руки пожалей». Только засмеется: «Для себя, говорит, Максим, разве трудно?» Радостный человек... А еще счастье мое было — дочка, двенадцатый год шел... Галю моя! И сейчас в ушах, как колокольчик: «Тату! Тату!..»

Готовый сейчас к чему угодно — к грубому ли, от боли, слову или, хуже того, — ко всегда неудобным на людях мужским слезам, — я прикусываю губы. И снова Максим Петрович удивляет меня — ровным, после трудной паузы, голосом:

— Жил, говорю, и радовался, а потерял все, может, за час какой-нибудь... Помнишь, как немец сначала пер? Нам бы тогда собираться да с места сниматься, а мы сидим, ждем, не верим все. Да и кто бы тогда поверил, что фашист до Волги дойдет? Ляпни кто-нибудь такое, я бы первый ему голову открутил. Не паникуй!.. Меня в тот день в район вызвали. Путь не близкий—пока добрался, чуть не полдня ушло. Въезжаю в райцентр, а там черт-те знает что творится. Все улицы коровами забиты, ревут, мычат, бабы тут же подойниками, как на стойле, гремят. Спрашиваю, что за племенная выставка?—только ругаются. Чтоб им, говорят, повылазило, сами ничего не знаем. Еле к райкому пробился. Только через порог перешагнул, секретарь спрашивает: «Видал, что делается?» Видал, мол, да не пойму ничего. «Поймешь, отвечает, сейчас. Принято решение скот эвакуировать. Положение тревожное. Согнали около двух тысяч. В общем, говорит, объяснять некогда. На бюро ответственным за перегон назначили тебя. Ты один здесь?» Ясно, мол, один. «Ну, так вот,—говорит, — получай документы, скачи в село, кидай в тачанку свою Оксану да Гальку и назад. В ночь выгоните. Разобьете на несколько групп, в каждой будут погонщики, а ты — головой. И еще вот что, говорит, Максим: давай поцелуемся. Работали мы с тобой хорошо, зря не ругались, а когда теперь увидимся, да и увидимся ли вообще — кто знает!» Попрощались, прыгнул я на тачанку да гнать. Скачу, умом понимаю, что беда на самые пятки наступает, а сердцем — ну вот убей! — не верю. Все, думаю, горячка; вот, мол, повернут эту нечисть, трахнут как следует, — только их и помнили! Проехал верст пять, — навстречу пыль клубами, войска идут. Пехота-матушка, артиллерия, легковушки штабные. Пережду, думал, а они идут да идут. Серые все, чуть с ног не валятся. Сунулся я было к одному с расспросом — только глазами зыркнул. Ну, вижу — конца не будет, да и пустил своего Якима по целине. Добрый жеребчик был!.. Подлетаю к переправе, а там пробка. Я с тачанки долой, и сгоряча в самую гущу, наперерез. Налетел на меня какой-то майор, орет: «Куда? Сомнут!» Я было его этак в сторонку, думаю, прожмусь по мосту, по перилам,—майор меня за шиворот. В руке, прямо у носа моего, пистолет пляшет, глаза аж белые от злости. «К немцу, кричит, захотел? Назад, сука, а то череп снесу!..» Ну и повернул я назад. Пулей он меня не испугал — скажи тогда, что продырявит насквозь, а своих увижу — согласился бы! А то, что за сволочь какую-то принял,—как плетью ожег! Метнулся на берег — лодок нет. Сдуру было вплавь хотел пуститься — не подумавши, что пехом мне от реки часов пять еще шпарить, а тут «воздух» закричали. Мечутся, бегут кто куда. А я сел на что-то и шевельнуться не могу. Столбняк напал... Так в этом столбняке всю бомбежку и просидел. Видел, как с моста люди в воду посыпались, как рыба вверх брюхом всплывала, фуражку с головы снесло, и скажи ведь — не царапнуло, даром, что на самом бугре сидел... Потом, слышу, трясет меня кто-то за плечо. Майор этот самый. Сипит, голос сорвал. «Куда, спрашивает, идешь?» Объяснил я ему, на переправу глянул — тише там стало, а майор головой качает. «Опоздал, говорит, мужик. В Михайловке твоей немцы, это я тебе точно говорю, клином они врезались. Да и вряд ли ты, говорит, найдешь там кого. И они, говорит, по ней ахнули, и наши потом били...» Я, помню, стою, слова сказать не могу. А он поглядел на меня внимательно и говорит: «Самое умное, что ты сейчас сделать можешь, — пристраивайся к ребятам да шагай. Мужик здоровый, винтовочку дадут — домой тебе самый это короткий путь теперь».

Запали мне слова этого майора. Пригнал назад, влетаю в райком — секретаря нет. В кабинете зав. оргинструкторским отделом бумаги какие-то жжет. Где секретарь, спрашиваю. Руками развел: «Могу сказать одно: выполняет специальное задание». Слушай, говорю, друг,—так и так, освободи меня от этих коров, пойду в военкомат. Или еще лучше — направляйте в партизаны. «Не имею, говорит, полномочий». Да плюнь ты, говорю, один раз на эти полномочия! Назначь старшим кого-нибудь из погонщиков. Или вот, говорю, что: сам возьмись. Ты один, как перст, уйдешь от войны подальше и спасенным будешь. Рассердился, ледащая душа, да ведь знал, чем меня взять! «Товарищ Мельников, выполняйте партийное поручение!» Ну что ты тут сделаешь? Кровью сердце обливается, а я встал и пошел — выполнять партийное поручение... с коровами...

И принял же потом я с ними муки, будь они неладны! Разбили мы их на несколько стад, чтоб гнать ловчее. Я своего Якима из тачанки выпряг и мотаюсь верхом от стада к стаду, командир коровий. Покормить по дороге как следует нечем, почуят они траву или воду, собьются все вместе на лугу или у речки— ну, хоть плачь! Ни матюков, ни плетей не слушают — голодные. Тут еще три коровы телиться, не ко времени, начали, одна ногу сломала, прирезать пришлось, а они у меня все на шее, в мандате количество проставлено... Издергался за первые же дни, а лихо-то еще, оказывается, впереди ждало. Доить не успеваем — от села до села, когда бабы помогут, — что нас десять человек на прорву эту? Молоко перегорать начало — мычат, спасу нет, хоть уши затыкай. Потом другая беда свалилась: под бомбежку попали, на бреющем из пулеметов коров посекли. Не видал, как тяжело скотина подыхает? Не легче, чем человек. Мотаемся,—какую прирежем, чтоб не маялась, какой дробовик в ухо: в кровищи все, как мясники, а на телеге гонщик корчится — живот ему пробило... Начали мы тут свою, коровью, тактику и стратегию вырабатывать. Ночью гоним, днем в лесах да по оврагам отсиживаемся, бережемся. Накрутишься, из седла ночью выпасть боишься — так сон тебя валит, а днем хоть убей не спится. Голова гудит, мысли покоя не дают: подумаешь о своих — живы, нет ли? — и словно соли на рану кинешь!.. А в голове все одно: будь ты, мол, сам на фронте, с винтовкой, — по-другому бы все обернулось. Понимаю — глупо это. Что там один человек—песчинка в море! — а все про свое: может, и в живых бы не был, а душу бы не травил. Да не только думал эдак-то — действовать пытался. Как до какого района дойдем, я в военкомат. Покажу партбилет — сразу чуть не повестку в руки суют. Как спросят, откуда да что, услышат про коровье мое войско, так и руками машут. На иного накричишь, так хоть позвонит куда-то, справится. А конец все равно один: «Идите, товарищ Мельников, идите...»

Ну, дальше и идем. Неделю идем, вторую, третью. Тут с харчами да с кормами подбиваться начали. Нам-то еще ладно, — молоко всегда есть, я на него, к слову, с тех пор смотреть не могу. А с коровами хуже. Травы пожгло, да и время-то уж им отходит, сена ни клока. Бумажки были у нас подходящие—грозные, да ведь бумажками-то не накормишь. Пока доказываешь да горло по телефону рвешь— дальше идти надо. И начали мы тут, брат ты мой, партизанить! Увидим на поле стога — берем, копны на лугах — наши! Не совру тебе — один раз на разъезде теплушку прессованного сена армейского взяли. А что сделаешь? В общем, если под меня в ту пору закон от 7 августа подвести — лет на полтораста отсидки бы, как пить дать, набрал!..

И чего мы на дорожке своей не нагляделись! Пожары, бомбежки, ребятеночки без родителей — ужас! Горит земля... Иной раз кажется, что умом сейчас тронешься. Что сделать, чем помочь, когда у тебя только две руки да и те без винтовки? Ворочается все у тебя в груди — аж стонать примешься. Да злость в тебе поднимается. Где ж мы раньше были? Как так получилось? Озлобишься вот так, потом остынешь, и айда опять стада поднимать. Как ни раскидывай, а верно выходит, что самое твое первое дело сейчас — коров в целости довести...

Так вот и шли... Шли, шли, да к концу второго месяца за Волгой и оказались. Сдал я свое коровье войско, написал объяснение, сколько да почему недостает: сам, помню, пишу, а самого трясет. Дня три уж не по себе что-то было, а тут совсем скрутило. Ну, ладно, — отчитался честь по чести, с братанами своими по мытарству распрощался, да и прямой дорогой в военкомат. Теперь-то, думаю, не откажут... И что ж ты скажешь? До военкомата дошел, начал по ступенькам подниматься и—кувырк... Как уж там меня к врачу доставили да что со мной делали — не помню. Простыл, воспаление легких заработал да еще похуже — сыпняк где-то подцепил. Хотя и не мудрено: оборвался, обовшивел, где ведь только не обтирался. И завертело тут меня! Из больницы — в госпиталь, из госпиталя — в

больницу, из одного города в другой. По-настоящему-то только вот тут, в Сибири, и очухался, с осложнением потом лежал. Вон как скелеты в музеях — таким и я на ноги поднялся...

Выписали меня в казенных подштанниках — своего ведь только и было, что партбилет на сердце, — я опять в военкомат. И опять мне обратный ход. В почках что-то нашли. Слушаю, что мне говорят, и сам не вижу никого — аж в глазах от обиды потемнело! Вышел, иду по городу, а меня ветерком пошатывает...

Пришел в обком партии, к секретарю на прием добился. Душевный человек попался. Посмотрел партбилет, порасспрашивал, потом и говорит: «Вот что, товарищ Мельников. Поправиться вам надо, окрепнуть, но время сами знаете какое — война. Ваше стремление на фронт понимаю и ценю, но не думайте, что в тылу сейчас легче. И тут люди, как воздух, нужны. В общем так: поедете председателем колхоза. На свежем воздухе вы там быстрее на ноги встанете. Но учтите: работу вашу будем оценивать по тому, как вы помогаете фронту. Хлеб и мясо — вот что сейчас самое главное!» Так вот я тут и оказался...

Некоторое время Максим Петрович молчит, курит, потом, словно спохватившись, спрашивает:

— Ты ведь, наверно, спать хочешь?

— Нет, нет, рассказывайте!

— Да уж коль начал, так кончу, — усмехается Мельников. — Нашло нынче что-то, разворошил былое...

— Остановились вы на том, как приехали сюда, председателем.

— Помню, — кивает Максим Петрович. — И прямо тебе скажу: председателем я и раньше был, а понимать многое тут только начал. Война, люди, а побольше других, пожалуй, парторг наш научил. Тот самый, про которого говорил, — Седов, Иван Осипович... Знаешь, вот говорят — партийные отношения. Сдается мне, что такие партийные отношения промеж нас и были. Сойдемся в ночь под одной крышей — тихо, ладно, со стороны подумать можно, что отец с сыном. А с утра иной раз так схлестнемся, что хоть святых выноси! Упрямый я лишку был, горячий, а он — кременной, если уж на своем встал — не своротишь. И по чести говорить — я обычно уступал, правоту его чувствовал. Вскоре он мне первый урок и преподал... Состояние мое пойми, да разговор с секретарем обкома в душу запал, вот я и начал жать. Все для фронта — это я хорошо понимал, а до другого и дела мне не было. Мотаюсь, покрикиваю, а как кто с нуждишкой какой — и слушать не хочу. Раньше, вроде, чурбаном бесчувственным не был, а тут словно подменили. На фронте тяжелей — и разговор весь. Мое дело хлеб давать, молоко и мясо давать, а остальное, мол, не касается.

Насчет хлеба и мяса понимал Иван Осипович, конечно, не хуже моего — это он одобрял. А вот за то, что я, словно лошадь в шорах, несусь и по сторонам ничего не вижу, крепко обижался. Раз мне сторонкой заметил, другой раз — я без внимания. А тут отказал я бабенке одной соломы на крышу дать — и сцепились мы. Пришел Иван Осипович с дежурства — он в ту пору сторожем стоял, плох уж был: палку, вижу, в угол кинул — не в духе, значит. «За что бабе обиду нанес?» — спрашивает. Объяснил я ему, что с соломой трудно, упрекнул еще — сам, мол, знать должен. А он покашлял да раздумчиво так: «Дерьмо ты собачье, выходит, а не руководитель...» Я ему тоже сказанул, вскипел, а он мне все так же тихонечко: «Садись». И давай меня, и давай! «Ты что, говорит, озверел, что ли, людей не видишь? Ты мне фронтом не загораживайся, почему человеку по рукам стукнул? Да ты, говорит, знаешь, что она к тебе от последней нужды пришла? Муж на фронте, ребятишек пятеро, а крышу она эту в прошлую зиму разобрала, чтоб коровенку до выпаса дотянуть. Знаешь ты это?» Не знаю, говорю. «Так знать должен. Фронту, говорит, помогать — это, помимо всего прочего, о тех беспокоиться, кого фронтовики дома пооставляли! Ты, думаешь, придут они — спасибо тебе за такое скажут? Да у них, говорит, кусок этот, кроме которого видеть ты ничего не хочешь, поперек горла повернется, если они про такое узнают!»

Отчитал вот так, как мальчишку, потом сел на лавку, головой покачал: «Мягче, говорит, Максим, к людям надо. Раз у самого горе, то и к людям сострадание имей...» И знаешь ведь: на пользу пошло. Нашел я этой разнесчастной соломы, крышу покрыли, муки да отрубей ребятишкам выписал, а через месяц мужик ее мне письмо с фронта: благодарит. Уши мне тогда словно надрали — от стыда горят!..

Не думай, что только со мной он таким непреклонным был. Ого! Если он в чем утвердится — против любого пойдет. «Кровь, говорит, из носу, а на своем, коль прав, — глыбой стой!» Так и действовал. Всыпали тогда мне за Карла-то нашего, что бригадиром я его провел

да трудодни, дескать, транжирю: запряг мой Осипыч да в райком. А секретаря нашего в районе знаешь как звали? «Я сказал!» — весь он тут и есть. Не устоит, думаю, против него Осипыч, греха только наживет. И что ты думаешь? Под вечер вернулся, лоб от кашля мокрый — растрясло его, а посмеивается: «Все, говорит, в порядке, пускай Карл работает спокойно». Как уж он этого нашего «Я сказал» уломал — диву даюсь. Да ведь и то подумать: в партию Иван Осипович еще на колчаковском фронте вступил, самый старый коммунист в районе — это тебе не шутка!

Про секретаря-то я потом тебе расскажу— и мне с ним схватиться довелось, а сейчас— к слову только. Не забыл он, наверно, разговора с нашим Осиповичем. Раза два, как встретимся, намекал: «Парторга, товарищ Мельников, другого вам надо. Устарел Седов». Что вы, говорю, устарел! Хворый он — точно, а пороху в нем еще на двоих, любому прикурить даст. Секретарь хмурится, партийно-массовая, говорит, работа у вас запущена. Да нет бы, вроде, говорю. Заседаем, это правда ваша, мало, а работа ведется. Идет наш парторг по селу — каждый к нему с советом или с вопросом, вечером, говорю, на крылечко вышел — один за другим, смотришь, и облепили его, самый разговор по душам. Вот она, дескать, массовая работа и есть. Не плановая, говорю, конечно, может, ее в протоколах и не отметишь, а результаты налицо.

Так и отстал, до поры до времени...

Многому, в общем, научил он меня, Иван Осипович, парторг наш бессменный! Чужим горем горевать, чужой радости радоваться. И этому научил: «Кровь, мол, из носу, а за правду стой». Поговорка это у него такая была, вроде первой партийной заповеди. А так-то он в жизни был человек негромкий, ласковый. Приедет дочка на каникулы — Осипыч так и светится. Я тебе, кстати, не сказал: дочка-то его — жена моя нынешняя, Надя...

— Надежда Ивановна?

— Она. Второй год тогда в институте училась. Не хотела сначала — в колхозе работать собиралась, война. А отец настоял. Войне, говорит, не век идти, кончится — учителя еще нужней будут. Приедет вот так на несколько деньков — у нас вроде праздника. Карл Леонхардович первый огурец или там зеленое луковое перышко расстарается, я — все, что на месяц из продуктов положено, зараз на квартиру тащу. А про отца и говорить нечего — на глазах молодел. Не думай, что я замышлял чего: и в мыслях не было. На баб вообще не смотрел, а на эту тем паче: девчонка с косичками, это ведь павой-то такой недавно она стала... Радовались просто, светлее вроде с ней в дому становилось — три бобыля под одной крышей, понятно. И Надя к нам с Карлом Леонхардовичем как к родным относилась. Посмотрит, бывало, то на одного, то на другого, и глаза заблестят. Не слезой, конечно, участием. Слезы тебе настоящая сибирячка за здорово живешь не покажет...

Так вот время и шло: день да ночь — сутки прочь. К полночи домой придешь, повалишься замертво, а затемно уже снова по фермам ходишь. Переживать вроде и некогда. А потом, как начали наши Украину освобождать, тут я и заметался! Опять по ночам сниться мои стали. От сводки до сводки только и дышал: вот-вот до наших мест дойдут!.. А в марте как услышал: «После ожесточенных боев наши войска освободили...», так и порешил — еду! Собрал внеочередное правление, рассказал все — отпустили на пятнадцать дней. Да еще в дорогу всякого нанесли. Сибиряки, говорю, такой народ: сначала близко к себе не подпустят, а потом, если признают, родней родного станешь... По совести — сосвоевольничал я тут, схитрил, потом-то уж жалел, да поздно. На правлении благословили меня, а в район я не сообщил. Боялся, что задержат, посевная на носу...

Как уж ехал, говорить не буду. Измучился. То птицей бы, кажется, полетел — так, вроде, поезд тянется; то подумаешь, что к пустому, может, месту торопишься, — хоть на первом полустанке сходи! Пять ночей глаз не сомкнул, на одном табаке держался... Приехал, утра не стал ждать, побежал со станции. Пришел в село, а села нет. Ровно тут целину подняли, потом проборонили, да несколько тополей для памяти оставили... А один-то наш, зарубка еще моя на нем. Обхватил я его руками, заплакал, да так по нему на землю и съехал...

Максим Петрович переводит затрудненное дыхание; я искоса смотрю на него и страстно хочу невозможного. Хочу, чтобы он вдруг легко засмеялся и весело сказал: «А своих я все-таки нашел!».

— Да... — горько вздыхает он. — Утром огляделся: из земли три трубы торчат — землянки. И жили-то в них не наши михайловские, а беженцы какие-то. Оставил я им мешок с продуктами и заметался по округе: как в воду канули. Переходила, говорят, деревня наша из рук в руки, вот ее с землей матушкой и сравняли... Как уж я назад ехал—

не помню. В каком поезде ехал, с кем, ну хоть бы лицо чье—ничего не помню... Вернулся в область, подводы в тот день не оказалось, машины не ходят, ростепель. Пошел на постоялый двор, там компания какая-то, тут меня и закружило! Напился, с бабой какой-то спутался... Утром очухался — голова трещит, обросший, грязный, словно год белья не менял, мерзость! И тут как на грех Надю встретил. Иду опохмелиться, она навстречу. «Максим Петрович, вы?» — и глядит на меня во все глаза. Дохнул я на нее перегаром, не больно что-то ласковое сказал и — ходу. И подумай, поняла ведь все! Догнала, за руку, как малого, взяла, побриться заставила в парикмахерской, потом уж на почту вместе пошли, в колхоз позвонили. И все это так тихонько, просто, только глазами поблескивает, да брови, что птички вон, летают...

Михаил Петрович закуривает, отбрасывает в сторону пустую пачку.

— Солоно мне в ту весну пришлось. От одной беды не опомнился — другая свалилась.

— А что такое?

— Из партии меня исключили.

5

Говорит он это так обычно, что я не могу удержать восклицания.

— За что? Максим Петрович?

Он молчит, к чему-то прислушиваясь, потом кивает:

— Пароход снизу идет. Слышишь?

По воде отчетливо доносятся равномерные натруженные шлепки. Тяжело дышащий за близкой излучиной пароход полностью, кажется, завладел вниманием Максима Петровича. Обернувшись, он пристально всматривается в редеющую синеву.

Сначала из-за поворота показывается один только огонек — высокий и яркий; потом огней сразу прибывает, и кажется, что по черной захлюпавшей воде движется многоэтажный, по-вечернему освещенный жилой дом. Белая глыба парохода медленно проплывает мимо — какое-то время различима каждая лампочка, горящая на пустой палубе, темные квадраты окон и крупные буквы — «Кожедуб»; затем огни начинают меркнуть, только бортовой фонарь, удаляясь, долго еще мигает рубиновой точкой.

— Сколько я когда-то ночей тут просидел, — отвечая каким-то своим мыслям, беспечально и раздумчиво говорит Максим Петрович. — Станет на душе сумно — придешь и сидишь. Пароход вот так же пробежит, Иртыш катится — ровно жизнь сама, ни конца, ни удержу ей нет. И словно скверну из тебя какую-то вымоет: попрямишь плечи, и пошел опять!...

Мне хочется напомнить Максиму Петровичу о прерванном рассказе, но он возвращается к нему сам.

— Как исключили, спрашиваешь?.. На бюро, обыкновенно. Руки, правда, не все поднимали. Председатель райисполкома и директор МТС против голосовали. Да толку-то что...

— За что, Максим Петрович?

— А вот за что — вопрос сложный. Сам повод дал. Да такой, что и до сих пор в бывших бы ходить мог... Запил я... Ни до этого, ни после этого не пил так. Неделю, если не больше, — в дымину. Да ладно бы дома сидел. Так нет же, напьюсь, и гонит меня тоска пьяная к людям, на народ, руки на себя боялся наложу... Был у нас, на Украине еще, тракторист один. Не знаю уж как он там зазевался, уснул в борозде. Ногу ему трактором и отдавили, ночная пахота была. Кричал, спасу нет, от боли. Ногу отняли, так он когда поправился и болеть-то его культяпка перестала, топиться надумал, чуть спасли. Понятно тебе это?.. Вот и со мной то же было... Сначала только больно, криком кричать хочется, а хожу, как заводной, работаю. С неделю наверно так. А тут словно первый раз до меня дошло, что один-то я остался. Позади — все, впереди — ничего; как понял я это, так за стакан и ухватился... В таком вот виде «Я сказал» наш на меня и налетел. Вошел, а я пол-литровку перед собой ставлю, опухший. Он пол-литровку на пол и в крик.— Вспомнив, должно быть, эту сцену Максим Петрович усмехается. — Не знал он, должно быть, о горе моем, да, может, и знать не хотел, не интересовали его люди. Умел он такто, что ни слово, то обидней другого! Слушаю я его, а сам, чувствую, бледнею, хмель из меня выходит. Достал со зла другую пол-литровку, поглядел на него в упор да послал его... так, что сам чуть до конца договорил!.. Тут уж он с лица сменился, вышел, ни слова не сказал.

— И за это исключили?

— Да не за это, конечно. В морду мне, по чести говоря, дать бы за это стоило, а на бюро ставить — себя же опозоришь. Он-то это понимал, мужик неглупый был. А случай нашел, с председателем колхоза ведь как? Ткни его в любую минуту пальцем — в чем-нибудь да виноват. А у меня-то вина и сов-

сем страшная оказалась: срыв посевной. Ты в сельском хозяйстве разбираешься?

— Да не очень, — неуверенно говорю я.

— Ну, так вот тебе попросту. Весны у нас в Сибири какие? Сам черт их не разберет. То в начале апреля сушь стоит, пыль клубится, то в мае снег валит. А сеем мы всегда одинаково — по директиве. Как ее спустят, так и сей. Раньше всех отсеялся — честь и хвала тебе, в передовиках ходишь, до самой уборки в президиумах сидишь. А осенью, бывает, и собирать нечего. Первый-то год и я так сеял, как все. А тут пообвык, с народом познакомился, послушал, подумал, и выходит, что надо как-то по-другому повертывать. Жили тут у нас два старичка, скажу тебе, профессора, если порознь, а вместе — так и вся академия будет. Я их в эту весну и послушал. Повремени, говорят, сынок, с недельку, а то и полторы — худая весна будет... Вот ты себе такую картину и представь. По всему району тракторы гудят, а у нас, как в доме отдыха, — тишина. Парторг мой, Осипыч, затревожился сначала: «Худо бы, Максим, не было, смотри»; стариков обошел, сам поля облазил, тоже одобрил. Потом звонит директор МТС. «Почему, спрашивает, тракторы не берешь?» Погожу, говорю, немножко. «Максим Петрович, говорит, понимаю тебя, но войди и в мое положение, доложить должен. Денек, говорит, подожду, а там не взыщи...»

Через два дня промчался наш грозный секретарь по полям, в село даже не заехал. Вечером телефонограмма — срочно на бюро райкома. Осипыч со мной поехал — не пустили. Ну тут «Я сказал» и отпел меня. «Слушали» — одной строчкой записали: срыв посевной и систематическое пьянство, а резолюция на две страницы, с подходом: «В дни, когда победоносная Советская Армия...» и так далее. А самая суть — опять одной строчкой: из партии исключить, с работы снять... Слушаю, помню, и поверить не могу. С лица на лицо только взгляд перевожу, спрашиваю, вроде. Председатель райисполкома аж бурый сидит, под ноги смотрит, директор МТС воду пьет. Взглянул на секретаря — строгий, спокойный. Поднялся, по столу карандашом стучит: «Товарищи, продолжаем заседание, посторонних прошу выйти...»

Вышел я, значит, посторонний, на крыльцо — теплынь, девчата где-то поют, а мне уж и это неправдышним кажется.

Пустой какой-то весь я, деревянный, даже ноги вроде как деревяшки гремят... Слышу, окликают меня. Осипыч — сидел ждал. Посмотрел на меня, понял все, только на тележку кивнул. Выехали в степь, и начал он мне тут что-то рассказывать. Сначала-то я и внимания не обратил — уши вроде ватой заткнуты. Потом дошло до меня, что рассказывает-то он о своей жизни, прислушался, да и заслушался! И слова-то простые, незаметные, сейчас вот и не вспомню. Рассказал, как с колчаковцами воевал, как из-под расстрела с товарищами убежал да зимой две недели на болоте без хлеба таился, как тут кулаки в тридцатом году лютовали,—все житейское, простое, а мне, веришь, дышать с чего-то легче стало! Потом покашлял да ненароком вроде и спрашивает: «Что дальше-то делать думаешь?» А то, говорю, бороться буду, доказывать буду, из партии меня одна смерть выкинуть может! «Верно, говорит, Максим, верно», да и лошадь хлестнул, чтоб резвее бежала...

Ну вот, начал я в ту же ночь апелляцию писать, чтоб самому с ней в обком и ехать, а дела по-другому обернулись. На рассвете дедки — советчики мои заявились. «Начинай, говорят, сынок. В самый раз». Ну тут мы и развернулись — за полторы недели отсеялись! Я сгоряча даже забыл, что с работы снят — не едут, не звонят и письменных указаний нет. А отсеялся — сам позвонил. Не берет трубку, секретарша говорит — в отъезде, а по голосу чувствую: врет. Недели через две только председатель райисполкома приехал. Хмурый. «С камнем за пазухой, говорит, я к тебе, Максим Петрович: снимать приехал». Ну что ж, говорю, Сергей Андреевич, не век в председателях ходить, давай собрание собирать будем. «Тебе, говорит, легче: ты в глаза людям прямо смотреть можешь, а я нет...»

Обернулось наше собрание не по плану. Пока докладывал Сергей Андреевич, слушали — муха не пролетит. А до решения дошло, и на дыбки! «Нет, кричат, нашей воли! Хочешь через нашу голову — снимай!» Я вижу, некрасиво получается, сам просить об освобождении начал, тоже не слушают. «Сами про тебя, кричат, знаем. Нет твоей вины!» Три раза на голосование ставили — ни одной руки не поднялось. Сергей Андреевич раскраснелся, губы сидит покусывает. Расстроился, думаю, что дело свое не сделал, а он встает да при всех и говорит: «Эх, Максим Петрович, тебе ли голову вешать? Видел, как народ за тебя — стеной! Когда поддержка такая — сам черт не страшен! Дуй, говорит, прямо в обком — воевать будем...»

Переночевал он у меня, утром на своей же машине до города и подбросил.

Ну, явился я в обком, доложили секретарю, тому самому, что председателем меня посылал. Вхожу — недовольный, смотрю. «Не оправдываете вы, говорит, Мельников, доверия, кажется. Рассказывайте, что там за дров наломали». Начал я ему выкладывать все, что на душе было, смотрю — глаза потеплели. Сорвалось у меня ненароком как-то про «Я сказал» — засмеялся сначала, потом нахмурился. «Плохо, говорит, если зовут так. Так плохо — что дальше некуда!» Походил по кабинету, походил, потом спрашивает: «А посевы как?» Все в порядке, говорю, и пошутил еще — поедемте, мол, посмотрим. Засмеялся: «А что, говорит, дело. Давайте поедем». Достал плащ из шкафа, машину вызвал. Поехали... А посевы, не хвалясь скажу тебе, как на выставке. Дружные, крепкие, так зеленой щеточкой под ветерком и топырятся. Одно поле проехали, другое, третье — сердце радуется. К соседям заглянули, а там картина другая. Где густо, где пусто — грустные всходы. Походили мы так с ним, он и говорит. «Работайте, товарищ Мельников, спокойно. Правильно работаете». И добавил: «Семьей вам обзаводиться надо». Моя семья, отвечаю, товарищ секретарь, в земле сырой. «Живое, говорит, жить должно». Пожал руку и — в машину, да смотрю — не в город, а в район повернул. Как уж он там с секретарем нашим говорил, не знаю, только на первом же бюро решение о моем исключении отменили как ошибочное. И меня даже не вызвали. Встречались потом сколько раз — ничего вроде и не было. А в зиму прокатили его на конференции. Много тут ему горького от коммунистов пришлось услышать. В перерыв столкнулись — мимо было прошел, потом вернулся. «Не прав я, говорит, Мельников был. Извиняй» Я. говорю, тоже неправ был. За грубость мне бы извиниться надо, да прости, говорю, не хочу. Со мной, видишь, по-доброму расстаешься, а Седова я тебе все одно не прощу.

— А что, Максим Петрович?

— Да что?. Наградили у нас в ту зиму многих. Приехал я из области с Красной Звездой, в дом вошел, и впору хоть рукой орден прикрыть. Перед Осипычем неудобно — обошли его. Был в списках — точно знаю, а в последнюю минуту — потом уж выяснилось—«Я сказал» своей рукой его вычеркнул. И пояснил еще вроде: «Людей будут награждать за хлеб, а не за то, что у амбаров с берданкой стоят». Вот ведь как несправедливо вышло! Мы-то его как секретаря парторгнизации представляли, вдуматься — так в каждой пшеничинке, что мы сдали, душа его была!.. Вошел я, начал перед Осипычем оправдываться. Рассердился он. «Я, говорит, всю жизнь не за ордена работал — за совесть». Потом спохватился, что меня вроде обидел. «По-плохому, говорит, не пойми, сказал не так. А Звездочке, говорит, радоваться надо — боевой орден!» Лежал он тогда, хворал, а тут, смотрю, поднялся, сел на кровати. «Вот, говорит, рука тебе моя, пожать как следует не могу, зато от души...»

— Да, обидно!

— Как еще обидно, — вздыхает Максим Петрович. — Редкой чистоты человек. Все о коммунизме думал. Не любил он этого слова трепать, а уж если когда скажет — аж светится оно! Всю жизнь, до последней кровинки, народу отдал.

— Он что, умер?

— Той весной и помер. Дождался Победы, а через неделю скончался... И вот ведь человек какой был! До последней минуты не о себе, а о других думал. Забежал я, помню, под вечер — лежит он в постели, сухонький, чистый, и руки, как у покойника, сложены. Одни только глаза на лице живые, да усы его серебряные шевелятся. Бороду-то он брил, а усы всю жизнь носил. Подошел я к нему, сказал чего-то, а он спрашивает: «В избе-то никого нет? Присядь, потолковать надо». Сел я рядышком, отдохнул он малость и говорит: «Вот какое дело, Максим, концы отдаю, Надя остается. Бери ее за себя...» Что ты, говорю, Иван Осипыч? Да она мне в дочки годится, чуть не вдвое я ее старше! И захотел бы твою волю выполнить, так ей-то зачем жизнь ломать? Слушал он меня, слушал, глаза закрыл. Уснул, думаю, умолк я сразу, а он глаза открыл и ясно так, ласково: «Дурень ты, Максим... Расположена она к тебе. Мне, говорит, перед смертью все виднее, чем вам...» И попросил еще, чтоб не вызывали ее, беспокоился, что помешает ей, госэкзамены у нее начались...

Разговор этот я, конечно, из головы выбросил, а за Надеждой, как плохо ему стало, послал. Вечером вбежала, а отец холодный. И Карл наш тут же сидит, носом своим огромным хлюпает... Вот такая, значит, картина...

Максим Петрович набрасывает на плечи китель, оглядывается. Тут только замечаю и я, что ночь ушла. До восхода солнца еще не скоро — низина противоположного берега синеет,

над Иртышом клубится предутренний туман, но даже тишина и та сейчас кажется другой, напряженной и чуткой, перед пробуждением.

— С тех пор меня к новому берегу и прибило, — негромко говорит Максим Петрович и о чем-то затаенно вздыхает. — Кончила Надя институт летом и не позвонивши приехала. Вошла в свой дом, остановилась на пороге и смотрит на меня. Да смотрит както не просто... «Здравствуй, говорю, Надя, с окончанием тебя!» Подошла, посмотрела в глаза, да на грудь мне. «Один вы у меня, говорит, Максим Петрович, остались. Не прогоните?» И плачет, отворачивается. Я ее потихоньку так отстраняю от себя — человек ведь я, живой! А она вспыхнула да крепче прижалась. Чудно!.. — Максим Петрович растроганно улыбается, качает головой. — Ну, и поженились. Не верил, понимаешь, до последнего. Свадьбу туляли — не верил. Погляжу на себя в зеркало — вроде бы и не старый, в чубе ни одной седой волосинки нет. А вспомню, что ей двадцать три, а мне сорок один, — опять не верю. Тронуть ее поначалу боялся, вроде бы стыдно, девчонка ведь... И культурнее меня, прямо надо сказать. Педагог, институт окончила, а я что же, семь лет только в школу и бегал, в мою-то пору и это образованием считалось. Скажешь ей так-то вот, засмеется только. «Глупый ты, говорит, Максим, а не старый!» А уж когда поверил по-настоящему, скажи, как живой водой меня окропили! Молодость словно вернули... И ведь вот что удивительно: своих ни на минуту не забывал, а счастью радовался. Непростая это штука душа, брат ты мой! В одной ее половинке—былое мое незабытое, а в другой—нынешнее. И живут вроде порознь, а друг дружке не мешают. Как это так получается?..

А тут Сашка у нас родился — совсем будто в сердце у меня на место все встало. Стосковался по дитю. По селу, бывало, идешь, редко удержишься, чтобы по белобрысой головенке кого не погладить. А тут — свой!.. Полной грудью задышал я, одним словом. Война, будь она проклята, кончилась, дело спорится, Сашка растет. В работе, конечно, неполадки всякие случались, так не без этого. Их и сейчас еще хоть пруд пруди, и не все от нас зависит. Окреп наш «Сибиряк», жизнь, да и люди меняться стали, а старое мешает. Тесно нам в прежних рамках, вот одно за другим и вылазит, как из худого мешка. Возьми хотя бы с планированием. Неужели мы тут, на месте, хуже знаем, что нам сеять, а чего не сеять, да сколько сеять? Нет, все до точности распишут, словно видней оттуда. Подумаю иногда — зарываешься, мол, Максим! А присмотрюсь, людей послушаю — нет! Задачу мы свою главную, себя спрашиваю, понимаем? Чтоб продуктов стране в избытке дать? Понимаем. Так неужто хуже мы ее выполним, если, к примеру, ржи, которая у нас не родит, меньше посеем, а пшеницы да огородов прибавим? И надо, и выгодно — город-то вот он, под боком. Подумаешь так, и выходит, что больше нам доверять да самостоятельности давать надо. С секретарем райкома сколько раз говорил — новый-то стоящий мужик. А он сам мне еще с пяток таких вопросов подкинул. «Точно, говорит, председатель, точно! Копится, это в народе, зреет, а созреет — партия поддержит и сама все старое порушит. Это, говорит, твердо, я тебе обещаю. И правильно, что вперед смотришь!»

Максим Петрович искоса взглядывает на меня и вдруг просто говорит:

— А мои ведь нашлись — Оксана с Галей...

Я словно от толчка вздрагиваю, в душе поднимается настоящая сумятица. Почему сейчас, а не раньше? Не может же столько валить жизнь на одни, пусть и крепкие, плечи!

— Случайно узнал, что живы, — начиная волноваться, говорит Максим Петрович.—Понимаешь, как вышло... Выпал у меня свободный час, пошел я пообедать, а Надя куда-то ушла с Сашкой. Прилег на кровать, дожидаюсь: по радио беседу для работников сельского хозяйства передают. И вдруг говорят: «Слушайте рассказ знатной свекловичницы колхоза «Червонный прапор» Оксаны Долинюк...» Меня с кровати подбросило! Вскочил и, словно вон рыба, что на берег выкинули, хватаю воздух, а дышать нечем!.. Она, она, думаю! И фамилия девичья ее, еще как расписывались, осталась она при ней: никого в роду не было, вот и жалко ей фамилию стало. Кругом тут у меня в голове все пошло. «Червонный прапор» — это не наш колхоз, был вроде, в соседней области такой, так как она туда попала? А может, померещилось, обознался?.. Потом опомнился, слушать стал, а тут кончают. Не сама она читала — диктор. И опять говорят: вы слушали выступление свекловичницы Оксаны Долинюк, и местность называют. Точно, в соседней области. Ну, я и заметался! Ох, если б они, если б нашлись!.. Выскочил из дому и в гараж. Давай, говорю, Митя, в город гони! Примчал на главную почту, «молнию» дал. Поопасался из де-

ревни посылать— сразу ведь все село заговорит. Назад едем, ворот рву, душно мне. Да тут и вспомнил: в той самой области то ли тетка Оксаны какая-то дальняя жила, то ли сестра десятидвоюродная, слышал вроде когда-то. И опять мне в виски колотит: она! она!.. То огнем вроде меня опалит, то как в прорубь сунут. Что ж, думаю, делать буду? Сашку-то с Надей не брошу, прикипел к ним!

Два дня ответа на телеграмму ждал, места себе не находил. Раз Наде ответил, что голова болит, второй — она что-то неладное почуяла. «Максим, говорит, скажи правду: что с тобой?» Ничего, мол, — погоди, заради бога, — и из дому бегу... На третий день с утра сижу в правлении, делаю что-то, машина слышу, под окном встала. Мало ли их к нам приходит, а тут словно почувствовал, выглянул. Смотрю, такси, и выходит из него моя Оксана, а за ней дивчина — не сразу и сообразил кто... Веришь, как ухватился за стол, так чуть пальцы не выломал! И голос ее в конторе уже слышу, а сдвинуться не могу. Вошла, взглянула на меня и тихонько так: «Максимушко!» Бросилась она ко мне, обнял я их, и все позабыл, что было, что есть — все позабыл!.. А тут Надя в кабинет вошла. Встала на пороге и за косяк держится, белая... Вроде в сердце меня ударили. Окся, говорю, прости, знакомься... Наклонила она голову, а косы-то пополам с сединкой заплетены. Одна только Галя, доню моя, смотрит и словно понять не может, словно в душу мне очами своими родными заглядывает: как же, мол, так, тату?..

Не таясь, Максим Петрович вытирает глаза, встряхивает головой.

— И пошли мы, парень, домой, через все село... Оксана с Надей идут, а я с дочкой. То вижу, какая она у меня большая да красивая стала, кофточка на ней белая, по-нашему, вишенкой, расшита, то опять все ровно в тумане... В дом вошли, а на кровати Сашка спит, ручонки разбросал, и бровки его черные во сне шевелятся. Подалась Оксана, посмотрела на него и головой кивнула. «Твой, Максимушко, вижу!» Говорит, и губы у нее дрожат...

Надя первая в себя пришла. «Ну что ж, говорит, гости дорогие, умывайтесь с дороги, пообедаем... Устали, наверное, в поезде?» А Галю моя отвечает: «Летели мы, тату, на самолете...» И вот такая картина, представляешь?.. Сидим за столом, на столе закуски да выпивки, а мы ровно на вокзале поезда ждем: сложили руки на коленях и молчим... И опять Надя первая заговорила. Строгая такая, бледная, а вроде спокойная: «Что же, говорит, Оксана Михайловна, ни я перед вами не виновата, ни вы передо мной. И Максим тоже перед нами не виноват. Так получилось. Любил он вас и любит, — взглянул я тут на нее, а она меня глазами словно одернула: молчи, мол. — А первая, говорит, любовь не забывается». И встала тут из-за стола: «Вот, говорит, и все. Не думайте, что легко мне это сказать, а надо...»

Сашка наш тут проснулся. Протер кулачонками глаза да ко мне на колени. Прижал я его к себе, матери не отдаю. А он огляделся, увидел у Гали моей вишенки на кофточке и к ней потянулся. «К тебе хочу», — лопочет. Взяла его Галя на руки, смотрю, слезы глотает, а Сашке улыбается. Ровно солнышко в дождик... Тихо так в избе стало, один Сашка и лопочет, вишенки те пальцем трогает...

Тут Галя моя и спрашивает: «Мамо, когда домой поедем?»

У меня опять горло перехватило... А Оксана посмотрела на нее, кивнула ласково. И говорит Наде: «Спасибо тебе, добрая душа, за хорошее слово. И я тебе правду скажу. Вот как перед богом... Один он у меня был, один в сердце и останется... А сам-то пускай здесь живет. Дите-то совсем малое...» И заплакала тут. Тихонько, горько, одни только плечи и трясутся. Дочка к ней бросилась, я сижу, слова сказать не могу, располосовал бы сердце надвое! Дверь только, слышу, скрипнула, опомнился — Нади нет, и Сашку забрала... Уронил я голову, только и прошу: «Прости, Оксана!» А она гладит меня по волосам: «За что, Максимушко? Видно тебе два счастья на роду написано...» Встала, чемоданчик свой раскрыла. «Угадай, говорит, какой я тебе подарок привезла? Всю войну ховала». И подает мне мою медаль «За трудовую доблесть»...

Потом, как в себя немножко пришли, разобрались, как же мы друг дружку потеряли. Что скажешь?.. Все страшное, должно быть, просто получается. Как бомбить тогда нашу деревню стали — в степь они кинулись. Вернулись — немцы взошли, обо мне ни слуху, ни духу. Начали тут коммунистов искать да вешать, обо мне дознались. Решила Окся из деревни уйти. Три ночи шли. Сначала думали в соседней деревне остаться, узнал их там кто-то, она и поопасалась. Да и вспомнила о своей тетке дальней, с девчонок у нее была, никто ее там не знает... Всю войну там и промытарила. Как освободили — писать начала,

меня разыскивать. Все думала, в армии я. Куда ни напишет — один ответ: такой-то не значится. Съездила, повидала, что от Михайловки нашей осталось, да назад и вернулась...

Я про свое рассказываю, она про свое. Дочка вспомнит что-нибудь, засмеется и замолкнет. Взглянет на нас с матерью, подбежит к окну и смотрит, смотрит... Вечером Надя с Сашкой пришла, с ужином начала хлопотать. Со стороны бы кто посмотрел — правда, что гостей привечает. Хлопочет, на стол подает, с Оксаной да Галей словом когда перекинется, одни только брови в стрелку вытянулись... Посидели, спать пора. Оксана с Галей на диване обнялись, затихли, Надя с Сашкой на кровати, а я — у раскрытого окошка, до самого солнышка. Все пальцы за ночь табаком осмолил...

Привез я их на вокзал, билеты купил, стоим, помню, на перроне, пустыми словами перекидываемся. Поезд подошел, Окся и говорит: «Ну что ж, Максимушко. В войну мы с тобой не попрощались, давай хоть сейчас по-хорошему попрощаемся. Не забыл, говорит, как у нас спивали:

За руки берутся вони...
Коли разлучаются двое,

Взяла меня за руки да прильнула!.. Обнял я дочку, выпустить боюсь, а у ней сердце, чую, как у подстреленной горлинки колотится... Эх, мужик, не приведи тебе господь свое дитя самому же сиротой увидеть!..

Максим Петрович рывком встает, отворачивается.

— Солнце вон, — глухо говорит он.

Слева и справа от меня белеют воткнутые в песок окурки, словно редкие ежиные колючки, поодаль валяются две смятых пачки «Беломора». Слабо плещет о берег сонный Иртыш. Здесь, у песчаной кромки, вода голубая, дальше она кажется розовой, еще дальше — пурпурной, и там, прямо из этого тяжелого пурпура, в малиновом разливе поднимается горячее живое солнце.

— Искупаться, что ли?

Максим Петрович раздевается, садится рядом и, словно успокаивая сердце, потирает левую сторону груди.

— Пишут вот, что ревность, ревность, — говорит он. — Вот и думал я, что промеж нас все как трещина ляжет. А Надя через месяц сама же мне и говорит: «Что ж ты письма дочке не напишешь? Отец!..» Чуткая, брат, душа у женщин, что струна вон!.. Купаться-то будешь?

— Да нет, не хочется что-то.

— Тогда подожди, вместе уж пойдем. Отсыпайся, а мне в район пора. Да про старика-то, говорю, Карла расспроси.

— Расспрошу, — машинально киваю я, смутно чувствуя, что писать, вероятно, надо не только о старике, но и о тех, кто заступил его место в жизни: Карле Леонхардовиче, о Седове и, конечно же, о самом Максиме Петровиче. Обо всем том, что посчастливилось мне узнать и услышать в эту ночь.

Максим Петрович трогает ногой воду, заходит по грудь и, ухнув, бросается в Иртыш. Закрывая его, вода на секунду смыкается и, бурля, расходится снова. Вынырнув, Максим Петрович заплывает на середину, поворачивает против течения, бьет сильными саженками упругий гребень быстрины.

— Давай, лезь! — азартно несется над рекой.

Несколько минут спустя, натешившись, Максим Петрович плывет назад. Метрах в десяти от меня он останавливается по шею в воде, трет мокро поблескивающую голову и идет к берегу. Широкоплечий, мускулистый, бронзовый, словно вырастая с каждым шагом, и похоже, что сама зеленая глубь реки расступается перед ним.

* * *

Письмо коротенькое.

Я пробегаю первые строчки, плотные и четкие, и снова, кажется, слышу сдержанный дружеский голос:

— За поздравления спасибо. Стараемся, брат, не все только сразу выходит. А размахнулись широко. Одной целины триста гектаров подняли, никогда раньше столько пшеницы не снимали. Помнишь, не верил ты, что сад до села дотянем? Дотянули, и в ширину еще прихватили. Карл наш жив, но постарел здорово. На пенсию бы ему, да ни в какую не хочет.

Ну, про себя что рассказывать? На здоровье пока не жалуюсь, собираюсь еще миру послужить. Два раза дедушкой успел стать: у Гали моей сын да дочка растут, приезжала недавно с мужем в отпуск. Оксана живет с ними...

Сашка кончает седьмой класс, с меня вытянулся. Мы тут с Надей дом себе новый поставили, приезжай на новоселье. Она тебе привет передает, но о том, что писать ты задумал, не сказал я ей. А по мне что ж, пиши. Замени только как-нибудь фамилии наши да имена: неловко все-таки. Меня, к при-

меру, Максимом назвать можешь: Оксана когда-то думку имела, чтоб сын Максим у нас был... И еще вот что. Ты в письме счастливым человеком меня зовешь. Не спорю. А только смотри, чтоб не получилось легко больно. Человек за жизнь и напляшется и наплачется, а то, бывает, в книжках-то один пляс идет. Счастье мое, сам знаешь, — трудное...

— Знаю, Андрей... то бишь, Максим Петрович, знаю! — вслух уверяю я своего далекого собеседника и снова, беспокоясь, начинаю перечитывать эту только что законченную повесть.

Ну что же, иному тонкому стилисту, может, и резанет слух тяжелая фраза или грубое словцо, — я все равно ничего не стану менять в ней. Слишком дорога она мне, да и не нуждаются ни в каких приукрашиваниях ее невыдуманные герои—наши современники, люди трудной судьбы и ясного сердца, люди простые и великие, каких множество, кем и красна земля наша.

А. Карасев

В этом году писателю А. И. Карасеву исполнилось 50 лет. Юбиляра приветствовали Правление Союза писателей РСФСР, писательские организации соседних областей, литераторы Пензы.

Ниже печатаются новые стихи А. Карасева.

ВЕСНА

Земля весенняя светла
В разливах рек и солнца,
Стреляет почками ветла —
Звук в сердце отдается!
Прошел с громами ледолом,
И над степной равниной
Апрель бьет голубым крылом
За стаей журавлиной...
Весна летит до широты,
Где дремлет хмурый полюс,
И землям вечной мерзлоты
Пшеничный снится колос!

ПОИМ

Не проедешь, друг мой, мимо,
Не пройдешь путем другим, —
Далеко ты от Поима,
Да запросишься в Поим.

А дорога по-над поймой,
А тропинка через ров,
Встретят за рекой спокойной
Десять тысяч мастеров;

С звонкой окающей речью,
С зоревым пыланьем лиц
Выйдут в праздный день навстречу
Десять тысяч мастериц.

Ты в пути устал, быть может, —
Крепкой браги поднесут,
Хлеб да соль тебе предложат,
Но не в этом дела суть.

Потолкуй с людьми немножко,
Погляди их честный труд,
Сапоги иль полусапожки
По фасону подберут.

Ой, красивы,
Ой, добротны,
Ни малы, ни велики;
До Берлина шли поротно,
В них советские полки!

Ну, а если же узнают —
В гости будешь в декабре,
Шерсть первейшую скатают —
Будут валенки тебе.

Ой, пригожи,
Ой, красивы,
Век носи — и будешь рад...
Что? Не веришь? Так спросил бы
Под Москвою у солдат!

А еще Поим известен
По Вороне до Хопра
Золотым напевом песен,
Речью звонче серебра.

Ой, сердечны,
Ой, как звонки —
От реки и до реки;
Ладно б парни да девчонки,
Нет, запели старики!

Не проедешь, друг мой, мимо,
Не пройдешь путем другим:
Будь хоть где ты от Поима,
Но запросишься в Поим.

ДЕВУШКА С КОРОМЫСЛОМ

Ведра всклень наполнены водой,
Плещутся, златясь, на коромысле:
Словно бы под радугой-дугой
Два веселых солнышка повисли.

ПАСТУХ

В тростниковой дудке пастуха
Спят в обнимку песня, и рассвет,
И высокий голос петуха,
И росы невыгоревший след.
А пастух проснулся и глядит
Миру целому в спокойный лик...
Вот возьмет он дудку, задудит —
Тут же вся земля привскочит вмиг!

В. Садовский

УРАВНЕНИЕ С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Рассказ.

После обеда курьер института, угрюмая малоразговорчивая Поля, приносила с почтамта пачки газет, журналы, рулоны бандеролей и стопку писем. Секретарь директора Марина Алексеевна, покончив с едой, вынимала из сумки зеркальце, взбивала светлые с рыжеватым отливом кудри, подкрашивала губы и бралась за ножницы.

Гаврюшка, сын Поли, возвращаясь из школы, непременно заходил к матери и, присев в уголке около кипевшего на плитке чайника, с нетерпением ждал наступления той минуты, когда Марина Алексеевна начнет вскрывать письма. С непроходящей тревогой мальчишка смотрел на блестящие ножницы и от напряжения у него на веснушчатом лице выступали капельки пота.

— Давайте я вам помогу, Марина Алексеевна, — умоляюще говорил Гаврюшка.

— А я не справлюсь с этим делом? — спрашивала с усмешкой Марина Алексеевна.

— Эх, какая красивая марка! Разрешите мне ее самому снять с конверта. А? Пожалуйста...

— Ну, и несносный же ты человек, Гавриил, — замечала секретарь. — Ни разу еще я не разбирала почты, чтобы твоя милость меня не контролировала... Ладно уж, бери свою красивую марку, прилипало.

— Прилипало—это рыба, Марина Алексеевна. Она к днищам кораблей липнет. Учительница нам говорила: куда корабль плывет, туда и рыба вместе с ним. Во, какая хитрая!

— Вот и ты так же к конвертам с марками липнешь, просвещенный мореплаватель.

— Мореплавателем хорошо бы стать, Марина Алексеевна, — рассудительно говорил Гаврюшка, продолжая снимать с конвертов любезные сердцу марки.—Только на корабль так просто не поступишь. Вот если бы в трюме за ящиками спрятаться, пока погрузка идет. А уж когда в море корабль выйдет, не будут из-за мальчишки обратно в порт поворачивать.

— Я тебе такое море покажу — не возрадуешься, — ворчала мать, ставя на стол бутылки минеральной воды. — Ты об учении бы думал побольше, а то опять гусей ловить начнешь.

— Каких гусей? — поинтересовалась Марина Алексеевна.

— Которые без перьев. Двойки у них так зовут.

— Ах, вот что! — сказала со смехом секретарь. — Двоечников и марками баловать не стоит.

— У меня за весь год только раз двойка-то была, — напомнил Гаврюшка, хмуро посмотрев на мать.

— Ладно. Забирай свои марки и—на место. Сейчас директор приедет, — сказала Марина Алексеевна, передавая ворох конвертов.

Гаврюшка забрал их и отправился за шкаф сортировать богатую добычу. Но полюбоваться марками не пришлось: мать стала выпроваживать его из уголка, где всегда кипел чайник и пахло растопленной сургучной смолкой, которую в несметном количестве потреблял начальник канцелярии, толстенький лысый Василий Васильевич. С ним Гаврюшка не раз ловил рыбу, встречался на футболе, но здесь, в институте, соблюдал почтительную дистанцию, может быть, потому, что на двери у Василия Васильевича ви-

села строгая табличка: «Посторонним вход воспрещен».

Пока Гаврюшка спорил с матерью, и не заметил, как вошел директор института Леонтий Петрович — строгий высокий человек в больших роговых очках. Гаврюшка знал, что в институте директора чаще называют не по имени и отчеству, а просто «сам», и все побаиваются его. Поддавшись общему настроению, Гаврюшка тоже старался не попадаться лишний раз на глаза «самому», и совсем непонятно было, как мог Гаврюшка допустить такую оплошность сегодня: пока он пререкался с матерью, «сам» успел повесить на вешалку пальто, шляпу, шарф, провел расческой по седым кудрям и заглянул мельком в уголок, где Поля ворчливо убеждала Гаврюшку, что она не потерпит его прохладного отношения к математике.

— Это как же так, товарищ филателист, вы можете пренебрегать основой всех наук?— потрепав светлые вихры Гаврюшки, спросил директор. — А я думал, ты придешь к нам в институт работать.

— Не-е-е, я моряком хочу быть. Тут пусть уж мамка сидит.

— Вот это здорово! Отвергаешь, значит, наш институт? — с интересом оглядывая Гаврюшку, спросил директор.—Ну, что же, дело твое. Моряком тоже быть неплохо, я думаю.

— Я ему такого моряка задам — не рад будет, — пригрозила мать.—Учиться надо, а не о пустяках думать.

— Это справедливо, — согласился Леонтий Петрович. — Сначала нужно выучиться, потом уж дело по душе выискать. У нас, кстати, все работы хороши — выбирай на вкус.

— Я знаю: это Маяковский, — заметил Гаврюшка.

— Молодец! Литературу знаешь, — еще раз потрепав вихры Гаврюшки, похвалил директор.

— А я и математику знаю, да не люблю. С этими уравнениями мучаешься, мучаешься, а потом, глядишь, неизвестное-то совсем просто можно было отыскать... Зло даже возьмет потом.

— Это математика тебе мстит за то, что ты не дружно с ней живешь, — назидательно промолвил Леонтий Петрович, направляясь к дверям кабинета.

— Она, поди-ка, всем перцу подсыпает,— негромко заметил Гаврюшка, решив, что «сам» не услышит.

Но Леонтий Петрович обладал способностью и разговаривать, и слушать третьего, и думать о неотложных делах. Он чуть заметно улыбнулся словам огорченного мальчишки и решил, что на сына курьера следует обратить внимание месткома: мальчишка ходит в разбитых башмаках, и рукава его курточки стали коротковаты.

— В американском журнале статья о Буше помещена, — напомнила Марина Алексеевна.

— Спасибо. Я непременно прочту, хотя думаю, что о нем вряд ли скажут что-либо новое. Буш останется Бушем, — сказал Леонтий Петрович, входя в кабинет и щурясь от солнца, лившегося в окна широким потоком.

Леонтий Петрович сел за стол, развернул журнал и нашел статью, о которой ему говорила Марина Алексеевна. Скользнув взглядом по заголовку, директор на миг закрыл глаза и почему-то очень ясно представил себе не того, о ком шла речь в статье, а совсем иное...

В памяти возникла и предстала перед ним с удивительной подробностью даже самых мельчайших деталей узкая кривая улочка старинного города. Трудно было понять, как смогло пробраться среди такой путаницы домов жаркое южное солнце, но оно все же проскользнуло в этот лабиринт, и на серый камень стен падали светлые полосы. Где это было? Леонтий Петрович тщетно напрягал память. Она ничего не могла подсказать. Может быть, это было в Болонье, а возможно, и в Антверпене — улицы старых городов так напоминают друг друга. Камень стен тоже темнеет от времени во всех странах, и стены делаются похожими одна на другую... Он не мог сейчас припомнить где, но он хорошо представлял улицу, развернутые вдоль нее, покрытые мохом каменные свитки стен, на которых было написано часто повторяющееся короткое слово: «Мир». Источенные временем камни, запечатлевшие это теплое радостное слово, казалось, и сами становились от него ласковее и теплее.

Добрым вестником надежды приходило светлое слово мир в дом каждого человека, приходило вместе с солнцем, с наступающим утром. С думой о мире начинал свой день английский рабочий и китайский земледелец, со словом о мире обращался к прихожанам французский священник и к читателям—чилийский поэт. О мире думали и заботились писатели и ученые...

«Только не все», — подсказала память, и горькая усмешка промелькнула на губах Леонтия Петровича.

Да, не все... Они есть сейчас, они встречались и прежде, люди, отвергающие даже мысль о мире. Возможно, их не так много, но они есть. Ванневар Буш имеет, конечно, единомышленников.

Академик Леонтий Петрович Русаков и много лет спустя все еще не мог окончательно отделаться от тягостного впечатления, оставшегося от беседы с сухощавым педантичным человеком, которого называли Ванневаром Бушем.

Было это в конце 1944 года, когда вместе с группой советских ученых академик Русаков приехал в Соединенные Штаты и здесь ему предоставили возможность познакомиться с департаментом научных исследований и усовершенствований. Главой этого учреждения был известный ученый доктор Ванневар Буш — типичный стопроцентный янки, как называли его херстовские газеты. Русакову было известно, что незадолго до начала второй мировой войны «стопроцентный янки» был директором института Карнеги и руководил одновременно комитетом новых видов вооружения армии и флота. Через этот комитет уже тогда, накануне войны, фабриканты оружия старались подчинить науку своим интересам. Если комитет не смог тогда чего-то доделать, то теперь это осуществлял пришедший на смену комитету департамент научных исследований и усовершенствований.

— Мои парни зарабатывают кучу денег, — с заметной долей хвастовства сообщил доктор Буш своему русскому коллеге. — Но доллары им платят за дело. У меня в департаменте шесть тысяч людей имеют ученые звания и труды, а доллары они получают не за это. Познакомьтесь. Все, что здесь указано, создано у нас в департаменте за одну неделю, всего лишь за неделю. Неплохо?

Действительно, сделано было немало. За неделю появились пятисотфунтовая нефтемагниевая бомба, которую нельзя потушить, два типа противотанковых бронемашин, вооруженных пушками, самоуправляющаяся торпеда, амортизаторы отдачи у орудий, электронный аппарат для нагнетателей в самолетах... В перечне было что-то еще менее запоминающееся, представлявшее интерес только для фирм, производивших вооружение.

Буш, как гостеприимный хозяин, после беседы повел гостей по лабораториям, стал показывать новинки, созданные работниками департамента, но самих работников не представил, и это бросилось в глаза. Однако Русаков не подал и вида, словно не заметил, как старательно скрывает Буш своих сотрудников и не позволяет им соприкасаться с русскими гостями.

Когда они пришли в огромный зал, охраняемый солдатами морской пехоты, респектабельная чопорность Буша на какое-то короткое время уступила место обычной человеческой взволнованности, которая проявляется у родителей при виде взрослых детей, оправдавших их надежды.

— Здесь мы поместили наш дифференциальный анализатор, — пояснил Буш, указывая на гигантское сооружение, размещенное в зале.

«Так вот оно какое это восьмое чудо света», — подумал Леонтий Петрович, разглядывая на почтительном расстоянии знаменитую электронную махину. Приблизиться к ней оказалось не так-то просто: повсюду торчали часовые, умело создававшие непреодолимые, внешне неприметные помехи.

— И как же эта гигантская машина помогла прогрессу научной мысли? — покашиваясь на маячившего перед глазами солдата, спросил Русаков своего американского коллегу.

— Об этом пока трудно судить, — ответил Буш. — Сейчас все подчинено войне. Наш анализатор специалисты используют для артиллерийских расчетов.

— Но ведь не вечно люди будут воевать. Нам нужно думать и о том, чем мы должны заниматься в дни мира. Я считаю это долгом ученого, — сказал Русаков.

Глава департамента научных исследований слабо усмехнулся и начал терпеливо пояснять свою точку зрения. Пока существуют военные проблемы, он интересуется только ими, и никаких планов на мирное время сейчас не следует составлять. Социологи могут гадать о будущем, а людям точных знаний не следует отрываться от земли.

— И потом вы не забывайте: нам приходится работать в тесном контакте с деловыми людьми, — напомнил Буш, — а бизнесмены не позволят ученым распылять свою работу и гоняться за какими-то миражами.

Спорить с Бушем было бы трудно. Он давно уже впрягся в колесницу большого бизнеса и мчался, пока были силы, все дальше от той науки, которая несла человеку великую радость познания мира...

Вечером в баре отеля «Шератон-Сенатор», где Леонтий Петрович, спасаясь от нестерпи-

мой октябрьской духоты, пил шипучую коричневую пепсиколу, произошла странная беседа, более похожая на исповедь, чем на беседу случайно познакомившихся людей.

В баре было шумно и людно. Погруженный в раздумье, Леонтий Петрович не заметил даже, кто сел рядом с ним. Из раздумья Русакова вывело чье-то осторожное прикосновение и негромкий вопрос, прозвучавший откровенной издевкой:

— Ну, как понравилась вам, мистер Русков, сегодняшняя прогулка?

Леонтий Петрович поднял голову и непонимающе посмотрел на сидевшего рядом человека того неопределенного возраста, который может быть близок и к сорока годам и к шестидесяти. Седина на висках, мешки под глазами, нездоровое серое лицо — все говорило, кажется, о том, что и жизнь, и привычки сидящего рядом будут сурово осуждены каждым благонамеренным членом общества.

Словно почувствовав, что так и может случиться, сосед Русакова провел ладонью по лицу и смущенно пробормотал нечто похожее на извинение. Но еще через минуту он снова ощетинился ежом и, дерзко поглядев в глаза, откровенно высказал свое мнение об иностранцах, пьющих всякую дрянь и не знающих ни черта об американской жизни. Опасаясь возможного скандала, Леонтий Петрович прикидывал, как ему получше и побыстрее отделаться от своего соседа, а тот, все более накаляясь от негодования, переходил уже к порицанию порядков, отдающих приличных парней во власть свиней и негодяев. Русаков насторожился еще больше. Это могло быть и провокацией.

— Уймись, Кларк, — равнодушным тоном посоветовал бармен, проворно готовя коктейль и отмеряя в стакан порцию «белой лошади».

— Поди ты к черту со своими советами, дорогой Фред, — огрызнулся сосед Русакова. — Ты сидишь богдыханом среди своих бутылок, а я там среди моих приборов чувствую себя ничтожным безвольным рабом, паршивой пешкой в большой игре... Надоело! К дьяволу их — всех моих хозяев! Послушайте, мистер Русков, неужели вы не поняли, что на этой кухне госпожи Беллоны от вас скрыли самое главное? Иначе и не могло быть, уважаемый коллега! Наши газеты называют ведомство мистера Буша отделением генерального штаба. Понятно? А кто же раскрывает даже истинным друзьям, что делается на кухне, если каждое новое блюдо должно быть неожиданностью?

Сосед потянулся за новой рюмкой мартини, выпил ее и, похрустывая жареным земляным орехом, сказал более спокойно:

— Может быть, вы опасаетесь меня. И совершенно напрасно. Я не представился вам... Чертовски рассеян стал ваш покорный слуга Кларк Сноуден. Когда-то это имя могло что-то говорить, а теперь оно просто обозначение одного из тех шести тысяч идиотов, которые покорно гнут спину в департаменте доктора Буша. Вам говорили, наверное, о кучах долларов, загребаемых нами? Этим всем прожужжали уши. Мы получаем содержание, соответствующее нашим знаниям и опыту. Но никаких прав на проценты с производства наших изобретений мы не имеем. Мы не можем рассчитывать ни на премии, ни на медали даже за самый гениальный ход мыслей, за величайшие открытия. Фабриканты смерти не только скупы, но и подозрительны. Они используют ученых и инженеров, но им они не верят. Мы можем собираться и обсуждать вопросы, связанные с нашей работой, только после того, когда в помещении, где мы будем заседать, будет проведен самый тщательный обыск и агенты Федерального бюро расследований займут свои места. Вся наша работа строится теперь на недоверии. Каждая тема исследований и заданий дробится на части, и ученому разрешают заниматься лишь одним каким-нибудь узким вопросом, а если уклонишься в сторону, тебя ждет знакомство с молодчиками из Федерального бюро.

Сноуден поднялся и, чуть покачиваясь, направился к выходу. Сделав несколько шагов, он остановился, словно вспомнив что-то невысказанное, что нужно было сказать непременно. Повернувшись к Русакову, Сноуден подмигнул ему и хрипловато рассмеялся.

— Самое смешное и глупое в нашем положении, мистер Русков,—полнейшее незнание простейшего уравнения с тремя неизвестными. Мы не можем сказать, какую ценность будут представлять завтра наши открытия, мы не знаем, нужны ли будем сами. И самое главное — мы не представляем себе, куда заведет нашу бедную науку большой бизнес... Надеюсь, вы поняли меня? Гуд найт!..

Мог ли предполагать Кларк Сноуден, что волновавшее его уравнение с тремя неизвестными найдет такое простейшее решение и ответ будет завтра дан в небольшой заметке

в «Нью-Йорк геральд трибюн» о несчастном случае, жертвой которого стал известный ученый математик Кларк Д. Сноуден. Он был сбит автомобилем. Кто помог так просто найти путь к решению проблем, волновавших ученого: алкоголь или нерасторопность парня, сидевшего за рулем, наехавшего на Сноудена на тротуаре, — об этом в газете не сообщалось, хотя очевидцы катастрофы могли бы под присягой подтвердить, что полицейский сразу же исчез, когда на месте происшествия появились какие-то энергичные люди, сумевшие решительно и быстро увезти пострадавшего.

«Достаточно уклониться в сторону, и тебя ждет знакомство с молодчиками из Федерального бюро», — вспомнились слова Сноудена и его хрипловатый смешок...

— Посмотрим, чем теперь занимается доктор Ванневар Буш, — развертывая журнал, сказал самому себе Леонтий Петрович, посмотрим, как он помогает честным людям находить теперь пути к решению уравнений, ломающих человеческие жизни.

Мысль вернулась сейчас к вихрастому мальчишке, собиравшему марки и ходившему в курточке с короткими рукавами.

«Тебе, дорогой филателист, кем бы ты ни стал завтра, такие проблемы решать никогда не придется. У нас подобные уравнения не могут возникать», — с удовлетворением решил Леонтий Петрович, приступая к чтению.

А. Петров

НОВОЕ НА СТАРОМ ЗАВОДЕ

На автоматическую линию можно смотреть, не отрываясь, часами. Вот рабочий насыпал в бункер кучу тускло мерцающих, необработанных заготовок для втулки заднего колеса велосипеда. На этом, собственно, участие человека в работе над деталью заканчивается: на арену выступает труд прошлый — творческая фантазия инженеров, аккумулированная в этом чудеснейшем автоматическом агрегате.

Заготовки послушно одна за другой катятся по желобку вниз, к целому комплекту инструментов, ждущих их, жадно грызущих своими крепчайшими зубьями, полирующих до ослепительного блеска. Инструменты спешат, перекидывают деталь друг другу — но эта спешка никогда не приведет к браку: ведь инженеры делали линию не для того, чтобы она повторяла ошибки человека, была бы ниже его по своей точности, неутомимости и быстроте!

Связали воедино три модифицированных станка и оперативно внедрили эту линию в производство два молодых инженера из конструкторского бюро Пензенского велозавода — Иван Варламов и Виктор Скиба. Получили за нее первую премию на конкурсе рационализаторов и изобретателей, проведенном в прошлом году совнархозом. И неспроста: ведь это была «первая ласточка» в обширной программе технического обновления предприятия, которая принята после июньского Пленума Центрального Комитета партии. А добрый пример всегда дорог: ведь на велозаводе существует пока немало операций таких, которые связывают крылья производству, не дают ему размахнуться в полную силу.

Вот рядом с автоматической линией Варламова и Скибы стоят восемь станков. За ними — восемь работниц. Они делают то же самое, что три станка-автомата. Только люди делают это порознь, расчленяя на отдельные операции процесс обработки втулочки. Работа, конечно, не сложная. Но монотонность ее, бессчетная повторяемость движений рук в «потоке» — это все-таки утомляет, нервирует, злит: ведь люди настолько выросли (в техническом и культурном смысле слова), что они уже не могут удовлетворяться ролью «прислужников» станков, которые, кстати, не столь уж производительны...

Хорошо, что скоро и эти восемь станков будут вытеснены автоматической линией. Хорошо, что в наше время руки человека освобождаются для более тонкого, легкого и радующего труда. Хорошо, что голова человека занята уже не скучной слежкой за медлительным стариком-станком, а схватывает сложнейшие процессы, творящиеся в автоматических устройствах!

Те же два молодых парня — Варламов и Скиба — и на других участках «навалились на старинушку», как с великолепным презрением назвали они устаревшее оборудование. Теперь оба с понятной торжественностью подходят, например, к пневмоэлектрическому прессу для изготовления каркаса велосипедного багажника. Раньше простейшая прижимная рамка проходила через длинную цепочку прессов, которые шесть раз гнули заготовку и так и этак. А после этого еще надо было закручивать концы заготовки в два ушка — тоже операция не из легких!

А вот как стало сейчас. Кузнец кладет стальной пруток под сложный штамп, нажимает кнопку — и с другой стороны пресса скатывается в ящик изящная, точно сделанная рамка. Да и обрубка прутка сейчас совершенно

исключена из техпроцесса, значит, на каждой рамке экономится пять-шесть миллиметров проката. Это не мелочь, если вспомнить, что в годовой программе таких рамок насчитывается пятьсот-шестьсот тысяч штук. Помножьте первую «величинку» на это солидное число — и вы увидите, что годовая экономия проката тут составляет не менее трех километров. Эти километры металлурги отправят тем, кому позарез нужен металл...

Экономить, хозяйски оберегать все, а особенно труд, силы и время человека,—это стало девизом нашей семилетки, яркой и благородной целью работы наших конструкторов. На велозаводе с благодарностью говорят о труде инженера Сергея Андреевича Полякова, внедрившего новый метод окраски узлов и деталей. Метод принес с собой годовую экономию почти миллион рублей, ускорил и улучшил технологический процесс, намного облегчил условия труда в красильном отделении.

Каждому, конечно, приятно «оседлать» велосипед, весело поблескивающий эмалью, радующий глаз своею мягкой расцветкой. И вряд ли кого не расстроит, если краска вдруг потускнеет, станет грязновато-серой, а эмаль начнет отваливаться кусками. Но добиться хорошей, устойчивой окраски — дело не простое, кропотливое. Рабочий брал в руки каждую деталь и опрыскивал ее из пульверизатора.

— Вас освежить? — спрашивал, бывало, какой-нибудь парнишка-балагур, хватая очередное крыло или рамку. Шутка неизменно пользовалась успехом: халат балагура, ошеломляющий петушиным многоцветием красок, очень уж отличался от щегольского халата парикмахера.

Шутки—шутками, а производство было не совсем здоровым: из пульверизатора вылетал все-таки не одеколон! Производство было расточительным: краска потоками сбегала с деталей, загрязнялась, приходилось заново перекрашивать, выравнивать, подправлять. Производство было и «затяжным»: ведь детали на тележках вкатывались в паровые шкафы и сушились там по целому часу!

Тут-то Полякову и предстояло подумать, посидеть над расчетами, сломать годами применявшуюся технологию. Инженер взял за основу принципиально новый способ окраски — в электрическом поле.

Всем известно из элементарного курса физики, что разнозаряженные тела взаимно притягиваются, «плюс» неудержимо влечет к «минусу». На этом свойстве тел и основана технология окраски. Детали, подвешенные на конвейерной цепи, получают положительный заряд. Они медленно ползут в сушильню. Там их подстерегает распылитель краски, к которому подведен отрицательный электрод. Краска, проходя через распылители, получает, следовательно, также отрицательный знак. И едва в камеру заходят «положительные герои» техпроцесса — детали, облачко распыленной краски устремляется к ним, заключает их в тесные объятья и... оседает на них изумительно ровным слоем. Все! Встреча положительного с отрицательным закончилась великолепным результатом. И все это — без вмешательства человека.

А что же дальше? Неужели эти детали сушить по старинке—в паровых шкафах, конвекционным способом? Способ—далеко не идеальный: верхний слой краски усыхал быстро, но сквозь этот панцирь почти не могли «пробиться» наружу растворители краски нижнего слоя. Нижний слой высыхал скверно, и верхний как бы плавал в нем. Сие как раз и являлось причиной скорого потускнения окраски велосипедов и неудовольствия их владельцев.

Инженер Поляков и его товарищи по группе антикоррозийных покрытий предложили перейти на сушку инфракрасными лучами. В сушильной печи с этой целью установили особые электропанели. Нагретые током до четырехсот градусов по Цельсию, панели испускают лучи, которые свободно пронизывают слой краски и греют не ее, а сам металл. От металла же греется и краска—слой за слоем, все выше и выше. Испарение растворителей происходит последовательно и равномерно, краска теперь уже «намертво» хватает деталь со всех сторон. Время сушки — всего пять минут!

... Так инженеры насаждают новое, передовое на каждом участке своего производства. Обновляется, молодеет велозавод — один из старейших заводов Пензенской области.

В. Ракитин

ЧУЖАЯ РОЛЬ

(басня)

В спектакле Мышь играла Львицу —
Пустыни грозную царицу.
Была ль талантлива жена
Влиятельного Грызуна —
Не нам судить.
Но стайка крыс
Пищала громко:
— Браво! Бис!
А строгий рецензент Хомяк
Увидел Мышку — и размяк,
Отыскивая нежные слова.
Средь грызунов пошла молва,
Что роль владычицы пустыни
Никто не игрывал доныне
Верней и ярче, чем она!
И Мышь, величия полна,
По сцене шествовала гордо,
Изображая Львицу с носа до хвоста.
Вдруг
из-за сукон
показалась морда
Не предусмотренного автором... Кота!
(То Васька, возвращаясь с крыши,
Учуял: где-то близко — мыши).
Завидев серого, «владычица зверей»,
Не разбирая окон и дверей,
Пустилась наутек
Со всех мышиных ног
От страха, чтоб ее не съели,
И скрылась в щели.

В. Максимов

СТАЛЕВАР

Куда тут деться Реомюру,
Когда по-адски дышит жар!
А вот на огненную шкуру
Глядит, не дрогнув, сталевар.

Металл кипит, металл клокочет
И вырваться из плена хочет,
Но человек невозмутим,
И зверь смолкает перед ним.

Бросая огненные блики,
Покорно в ковш полился он
И человеку, как владыке,
Отвесил до земли поклон.

ПЕРВЫЕ *произведения*

А. Сазонов

СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ

(Рассказ)

Я люблю ездить и потому охотно согласился на командировку, когда обком комсомола предложил мне прочитать несколько лекций в одном из районов области. Ехать надо было сначала по железной дороге, а потом километров пятьдесят на попутной машине.

Пассажиров в пригородном поезде было немного. Я выбрал свободное место у окна, а через два часа уже выходил на нужной мне станции. Расспросив встречных, как ехать дальше, я отправился на нефтебазу, где, по их словам, могли быть попутные бензовозы. И, действительно, там оказались две попутные машины.

Я договорился с шоферами о проезде. Один из них, уже пожилой, с хитроватым и подвижным лицом, сразу попросил меня стать к насосу, перекачивающему бензин, но другой, высокий и широкоплечий, укоризненно посмотрел на товарища и стал к рычагу сам. Был он молод, силен, с загорелым лицом и нахмуренными бровями. Рычаг легко ходил в его руках, и только испарина на лбу показывала, что эта работа не из легких. А в это время его товарищ стоял в стороне и курил. И только когда Стругин (так звали молодого шофера) отнял шланг от второй машины, тот подошел к нам.

— Ты, товарищ, — обратился он ко мне, — побудь тут капельку, а мы с Ваней пройдем маленечко.

Но Стругин, копаясь в моторе, возразил:

— Ступай один. Я не хочу.

— Смотри-ка ты! — развел руками хитроватый. — Совсем ты, Иван, пропадаешь для шоферской братии.

Он ушел. А через несколько минут Стругин предложил мне ехать.

— Его все равно у каждого буфета ждать, один доберется.

Мы выехали.

Меня, признаться, удивило пренебрежение Стругина к пьянице, я привык думать, что среди шоферов нет непьющих. Я попытался завязать разговор:

— Дождя надо, весь хлеб сгорит...

Иван поглядел на меня так, словно хотел сказать: «А что ты понимаешь в этом?» — и ничего не ответил.

Пришлось замолчать. Я оперся локтем на дверцу кабины и стал смотреть в окно. Была середина июля, стояли жаркие дни. Машина шла полем. С правой стороны тянулась телеграфная линия. На провисающих проводах, словно нанизанные на них, сидели птицы. От скуки я начал считать километровые столбы и сетовал, что спутник так неразговорчив. Но он все же прервал молчание сам.

— Откуда будете?

Я отрекомендовался и спросил, где в их селе можно переночевать.

— Не знаю. Гостиницы у нас нет.

Мы молча проехали километра два, потом Иван неожиданно предложил:

— Ночуйте у меня. А то, пожалуй, и все время живите.

Я поблагодарил его и спросил, не помешаю ли семье. Он горько усмехнулся.

— Не помешаете.

А потом добавил, нахмурившись:

— Один я. Жена от меня ушла.

Я невольно взглянул на него. Он крепко сжимал баранку и напряженно смотрел вперед. Нахмуренное лицо его было красивым и мужественным, дышало простотой и честностью, и я подумал, что жена-то, наверное, была пустышкой. Но Иван оборвал эту мысль.

— Вы только не думайте о Тане плохо.

Виноват я. — Он с минуту молчал, потом глухо вымолвил: — Пил я... — и резко включил скорость. Машина понеслась быстрее, подкидывая нас на выбоинах дороги.

Для меня это признание было неожиданным. Вспомнилось, как шофер наотрез отказался от выпивки, как потом неодобрительно отозвался о товарище. Я сказал ему об этом. Он ответил:

— Это я сейчас... А до ее ухода пил... Много пил...

Иван полюбил Таню еще до призыва в армию. Девушка заканчивала десятый класс, а он имел за плечами семилетку и годовой стаж шоферской практики. Боялся показаться перед ней некультурным, при встречах робел, молчал. И только в день призыва нашел в себе силы объясниться. Таня тоже сказала, что любит его.

Три года службы были для Ивана сплошным ожиданием. Он ждал и боялся: вдруг девушка забудет его. Но Таня не забыла, наоборот, стала мягче, ласковее. Их свадьба не была неожиданностью для сельчан, все пророчили им счастливую жизнь.

Таня работала кассиром в совхозе, Иван устроился туда шофером. Работал на бензовозе, делал по два рейса в день за горючим. Дома его неизменно ждали вкусный обед и теплая встреча. Скоро он привык принимать это как должное и даже научился посматривать на Таню снисходительно. Больше потянуло к товарищам. Брала зависть, что они, развозя пассажиров, выручали побочные деньги. Иван тоже стал присматривать «леваков». Само собой получалось, что после удачной поездки заходил в буфет.

Прошел год... Иван пил почти каждый день. Приходя пьяным, вспоминал, как Таня утром выговаривала ему, и бранился. Она не выдержала, пошла к секретарю парторганизации и все рассказала. Парторг вызвал Ивана. Стругина взяла обида на Таню. Тут как раз подвернулся напарник, Иван выпил с ним по сто граммов, потом еще и еще. Придя домой, закричал: «В моем доме не нужны ябеды!» Таня долго слушала пьяную болтовню мужа, затем собрала вещи и ушла. Иван сперва посчитал ее уход за шутку: «Испугать, мол, захотела». Но Таня не вернулась ни на второй, ни на третий день. Тогда он запил уже с горя. Не явился на работу, вывихнул руку. Партсобрание вынесло ему строгий выговор. Опомнился, пошел к Тане, но она даже разговаривать не стала. С тех пор прошло несколько месяцев. Иван в рот не берет водки, но покоя нет.

— Вернись она, на руках бы носил, да горда, не придет, — так закончил Стругин свой рассказ.

Поле давно кончилось. Мы ехали теперь по лесу и оба молчали. Иван выговорил все наболевшее, а мне его утешить было нечем. Я попытался представить его пьяным и не мог. Одно казалось ясным — он очень переживает случившееся, и сердцем я был на его стороне. «Любит она его мало, вот что, не то простила бы», — думал я о Тане.

Молчание становилось угнетающим. Я похвалил места, которые мы проезжали.

— Да, сторонка наша всем взяла, — откликнулся Стругин.

Так, перебрасываясь незначащими фразами, мы въехали в большое село. Было заполдень, и я решился пойти в райком завтра, так как устал в дороге. Иван довез меня до своего домика, сказал, где лежит ключ.

— Вы идите, — предложил он, — а мне до совхоза надо. Солью бензин и вернусь. Идите, идите!..

Пришлось подчиниться. Я нашел ключ и вошел в избу. Ее уютный вид удивил меня. На столе была чистая скатерть, книги аккуратно сложены на этажерке. На кухне, отгороженной фанерной перегородкой, тоже поражал идеальный порядок: печка занавешена, ухваты стояли в углу, тарелки, чашки стопками высились на полке. Пол был подметен и чисто вымыт.

— Вот ведь молодец какой! — невольно вырвалось у меня, когда я сравнил эту обстановку со своей холостяцкой квартирой.

Взяв какую-то книжку, я вышел на крыльцо и стал дожидаться хозяина. Иван пришел через час. Увидев меня, он усмехнулся:

— Что, беспорядок в избе-то?

— Хорош беспорядок! — улыбнулся я.

— А вы не смейтесь, — сказал он, проходя в дверь, и вдруг остановился как вкопанный. Лицо его побледнело, он быстро недоуменно оглядел комнату. Потом тяжелыми шагами прошел к столу и, помолчав, не глядя на меня буркнул:

— Мать приходила. Убрала.

Остаток дня он был угрюм и неразговорчив.

На другой день Иван разбудил меня очень рано. Вчера он узнал, что мне придется ездить по колхозам, и теперь, уходя на работу, предупредил, чтобы я заходил в дом и при его отсутствии. Я поблагодарил, а часам к девяти

уже трясся в телеге, направляясь в дальние колхозы.

Несколько суток пролетели незаметно. Командировка моя подходила к концу, когда я вернулся в райцентр. Был обеденный перерыв, и я отправился отдохнуть к Стругину. Калитка во двор была открыта. Значит, подумал я, и хозяин дома. Не спрашивая разрешения, распахнул дверь и... остановился: в комнате мыла пол молодая женщина. Она сразу выпрямилась и в сильном смущении взглянула на меня.

— Простите, — сказал я, — я думал, Иван дома.

Она помолчала, и я, запинаясь, пояснил, что остановился у него на несколько дней. И вдруг в голове у меня мелькнула догадка, что эта женщина — Таня. Сразу вспомнился идеальный порядок в избе в прошлый раз. Я шагнул в комнату смелее.

— А вы жена его, да?

— Да... Нет... То есть да, жена, — ответила женщина и окончательно смутилась.

Она засуетилась, вытерла фартуком табуретку, пригласила меня сесть и опять замолчала. Потом решительно поправила волосы и уже спокойнее сказала:

— Я сейчас уйду, а вы обо мне Ивану ни слова.

Я понял, что Таня, как прежде, заботится о муже, понял, что она любит его. И я мгновенно решил убедить ее остаться.

Не знаю, как бы мне удалось это, но тут на улице просигналила машина. Иван, как выяснилось после, еще никуда в этот день не уезжал и теперь завернул домой по пути. Таня так и застыла с тряпкой в руке. Из сеней послышался голос Ивана:

— А я знал, что вы...

Он не договорил, увидев жену.

— Таня?

Она беспомощно опустилась на табуретку и заплакала.

Иван быстро подошел к ней, обнял и, гладя по волосам, все повторял:

— Таня, Таня, Таня...

Я вышел во двор и закурил.

Василий Попов

ПРОВОДНИК

Мы шли через тайгу. Чтобы не заблудиться, взяли проводника, старого якута.

Старик долго вел нас через густые заросли, через буреломы, заболоченные поймы, через бурные реки и ручьи. Наконец, мы вышли на поляну. Остановились около шалаша. Отсюда начиналась тропинка.

— Сейчас недалеко... сейчас рядом, — сказал проводник, присаживаясь на скамейку и вытаскивая из широких штанов трубку и кисет с махрой. — Перекурим.

Но моему начальнику, геологу Егорычу, не терпелось. «Зачем платить лишние деньги. Здесь одни дойдем, Петрович», — шепнул он мне.

Проводник загадочно улыбнулся, окутался облаком сизого дыма.

— Смотри, начальник, не все близкое — легкое.

— Ничего, мы сами, — ответил Егорыч, протягивая старику деньги. — Спасибо, прощайте.

— До свидания, начальник.

Мы двинулись дальше, оставив проводника около шалаша. Но через час поняли свою ошибку: тропа начала разветвляться, как суковатое дерево. Егорыч нахмурился.

— Да, рановато проводника рассчитали, — сказал я.

Но начальник молча свернул вправо.

Тропа, перевалив через пригорок, скоро исчезла в вечернем лесу.

— Да, рановато, — наконец, признался Егорыч, глядя в сторону.

Мы разложили костер, решили ждать рассвета, хотя знали, что утро не облегчит нашу участь. Что делать? Кричать? Кто услышит голос человека в ночной тайге? Как только вспыхнул костер, в лесу затрещали сучья. Егорыч схватился за ружье.

— Не стрелай, начальник! — послышался из темноты знакомый голос.

К костру подошел наш проводник.

— Заблудилась, начальник? — сказал он и, сев на траву, задымил трубкой. — Я говорыл тебе: не все близкое — легкое. Верно говорыл, начальник: Не денга дорог, правда дорог, человек дорог.

ПОВИЛИКА

Картофельное поле цвело, ботва была густой и сочной. Но на ее высоких стеблях, в тени, притаилась желтая повилика. С завистью глядя на сочные растения, жадно высасывая их сок, она шипела:

— Подумать только, как обнаглела эта ботва. Солнце заслонила, ходу мне не дает! Я тоже хочу к солнцу!

Гибким вьюном полезла она по стеблю. Беспощадно впиваясь в ботву, с каждым днем крепла, разветвлялась. Скоро все картофельное поле пожелтело. Посохла ботва. Наконец-то повилика увидела солнце! Но оно не понравилось ей.

— Небо несправедливо ко мне! — завизжала повилика. Оно безжалостно жарит меня. Я худею! Я сохну!

Жгучая крапива услышала этот вопль.

— Ты заслужила такую кару, — сказала крапива. — Ведь ты погубила ботву, которая кормила тебя.

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

ПРО КУКУШКУ

(Из подготовляемого А. П. Анисимовой нового фольклорного сборника).

Поймал мужик в лесу кукушку, несет ее домой, а сам думает: «Ну, что я ее ловил? Какой мне от нее толк? Ни мяса в ней нет, ни пера. Только время зря потерял». И хотел было кукушку выпустить. Да вдруг видит: по дороге, ему навстречу, барин едет. «Погоди, — думает мужик. — может, я ее барину всучу?»

Подъехал барин. Остановил лошадей. Спрашивает:

— Чего это ты несешь, мужичок?

— А вот, — говорит мужик, — несу охотничью птицу-ловитку.

— Какую такую ловитку? Кого она ловит?

Мужик говорит:

— Она у меня, барин, уток очень ловко бьет. Каждый день утятину едим. Баба даже ругаться стала, надоело, говорит, каждый день все утятина да утятина.

Барин и позавидовал:

— Продай мне, мужичок, эту птицу.

Мужик подумал, подумал и говорит:

— Нет, барин. Продать я ее никак не могу. У нас, у охотников, не положено такую птицу продавать. Она дороже всяких денег. Другое дело — променять. Это можно.

Барин обрадовался:

— Ну, так за чем же дело встало? Давай сменяемся. Что ты за нее получить хочешь?

Мужик говорит:

— Ох, барин, уж я и не знаю, как быть? Жалко отдавать такую драгоценную птицу. Кабы хозяйка не ругалась, я бы ни за что не сменял. Ну, ладно, сделаю тебе уважку — сменяю. Давай мне за нее пару лошадей с тарантасом, и будем в расчете.

А барина такой задор взял — он на все согласен. Слезает он с тарантаса, отдает мужику вожжи, принимает из его рук кукушку и говорит:

— Чур меня без размена! Только ты научи меня, как с этой птицей обращаться.

— Да чего тут обращаться,—говорит мужик, — как увидишь — утка летит, сейчас же выпускай птицу и крикни: «Бей поскорей!» А уж она свое дело знает.

На том и расстались. Мужик подхлестнул лошадей и поехал, куда ему надо. А барин к болоту пошел, где утки водятся.

Шел он, шел и вдруг видит—летит стая уток. Он сейчас же выпустил кукушку и кричит ей:

— Бей поскорей!

А кукушка немного отлетела, села на дерево и:

— Ку-ку!

«Гляди-ка ты, — думает барин, — еще спрашивает—каку? Видать, умная птица».

И кричит ей:

— Выбирай, какая пожирнее.

А утки тем временем уже пролетели...

Немного погодя, летит еще стая уток. А кукушка на дереве опять:

— Ку-ку!

Барина нетерпение берет. Кричит он:

— Ладно тебе спрашивать «каку» да «каку». Бей, какая к тебе ближе.

Только эта стая из виду скрылась, третья стая летит. И опять кукушка с дерева голос подает:

— Ку-ку!

— Да бей ты, шут тебя подери, хоть какую-нибудь, — кричит барин.

А кукушка на дереве:

— Ку-ку! Ха-ха-ха!

И улетела в лес.

Тут барин понял в чем дело. Думает он: «Ловко меня мужик обманул — птица и то надо мной на весь лес смеется».

Записал В. А. Воробьев. Сказку эту слышал в детстве от своего отца А. В. Воробьева. Пенза.

СОЛДАТ И ЦАРЬ

В старину в солдатах долго служили — до седых волос. Один такой отслуживший возвращался домой. Железных дорог тогда и в помине не было, пешком ходили.

Идет солдат. А навстречу ему офицер. Спрашивает он:

— Отслужил?

— Так точно, ваше благородие, — отвечает солдат, — отслужил.

— А ты царя видал?

— Никак нет, — говорит солдат, — царя увидать не доводилось.

На том они и расстались, пошли каждый своей дорогой.

Идет солдат, а сам думает: «А ведь дело-то неладное получается: царю служил, а царя не видал. Приду домой — чего людям-то сказывать буду?». Он и махнул прямым ходом в город в Санкт-Петербург. Долго ли, коротко ли шел, достиг столицы. Пришел ко дворцу, встал у белого крыльца, и ждет-поджидает — не выйдет ли царь? Царь-то не вышел, а часовые его заметили, спрашивают:

— Чего тебе здесь надобно? Кто ты такой?

Объяснил им солдат, что вот, мол, так и и так — требуется царя повидать. Часовые караульного начальника вызвали. Караульный начальник узнал в чем дело и говорит:

— Ну, солдат, завтра разберемся, примет ли тебя царь. А сейчас отдыхай.

Отвел его в помещение и запер.

Не долго думая, солдат поел чего пришлось, разостлал шинель шинель под голову, шинелью оделся и захрапел — на весь дворец слышно. Умаялся, сердяга, аж забыл, где он находится.

Пришло утро. Солдат ни свет ни заря уже на ногах. Разгладил бороду, усы расправил. Ждет.

Вдруг дверь открылась, и сам царь Петр Великий стоит на пороге. Посмотрел на солдата и говорит:

— Ты хотел меня видеть?

— Так точно, ваше царское величество,— отвечает солдат.

— Какая у тебя ко мне просьба?

— Была просьба, ваше царское величество, — повидать вас хотел. Ну вот повидал, и больше мне ничего не надо. Никакой просьбы у меня больше нет.

Улыбнулся царь и говорит:

— Ну, тогда давай побеседуем. Скажи мне — сколько я стою?

— Двадцать девять рублей, ваше царское величество, — отвечает солдат, не моргнув глазом.

— Что же так дешево?

— А как же? За тридцать небесного царя продали, а вы хоть и царь, а все-таки земной. Хоть на рубль, а все подешевле.

Удивился царь дерзкому ответу. И спрашивает:

— А скажи мне — высока ли высота небесная?

— Нет, ваше царское величество, не так высока — там загремит, здесь слышно.

— А глубока ли глубина морская?

— Глубока, ваше царское величество! Наши отцы-деды сто лет как туда ушли и до сих пор не вернулись — все меряют.

— Ну, ладно, — говорит царь. — Посиди пока.

И велел отвести солдата на гауптвахту. А к себе призвал трех своих генералов. Спрашивает их:

— Сколько я стою?

Стоят генералы, дрожкой дрожат, ничего ответить не могут. И насчет небесной высоты и морской глубины ничего сказать не придумали. Царь велел и их посадить на гауптвахту.

Прошло времени много ли, мало ли, приказал царь всех четверых позвать к нему. Пришли. Царь велел высыпать меру золота. Спрашивает генералов:

— Сколько тут будет денег?

Молчат. Без счету как скажешь? Ошибиться можно...

Царь солдата спрашивает:

— Сколько тут денег?

Солдат, ничего не говоря, начал складывать деньги к себе в ранец и в карманы.

— Ты что, солдат, делаешь? — спрашивает царь. — Почему без счета берешь?

— А я, ваше царское величество, вашему счету и так верю, — отвечает солдат.

Наградил его царь и отпустил домой.

Пошел солдат в свои родные края. И, говорят, шел да всех бедных и сирот деньгами оделял. Домой пришел с пустым ранцем на плечах. Ну, ничего, дома и тому обрадовались, что живым вернулся.

Записал В. И. Буйлов от И. Т. Федорова, 79 лет. Село Куракино, Сердобского района.

Сатира и Юмор

И. Седов

ОХОТНИЧЬЯ ИСТОРИЯ

На базу райпотребсоюза завезли порох. Обыкновенный, бездымный, марки «Сокол». В банках. Для охотников.

Новость быстро распространилась среди членов охотобщества. Закаленные в преследовании тушканчиков и истреблении водоплавающей дичи ветераны охоты, встречаясь, толкали друг друга в бок, хлопали по плечу и довольно переговаривались:

— Слыхал?

— Ага!

— Привезли!

— Говорят.

— Как раз вовремя. Под отстрел уток.

— И на зиму запасемся.

— А то...

Лиха беда — начало! Разве могут уважающие себя охотники перебросится двумя-тремя фразами и так себе, за здорово живешь, разбрестись по домам? Н-е-т... Даже в наш век спутников и кибернетики охотник остается тем, кем его создала когда-то природа,—впечатлительным слушателем и словоохотливым рассказчиком. Особенно рассказчиком.

Собрались здесь не новички, а люди с солидным стажем (конечно, охотничьим). Каждый из них был готов открыть вечер воспоминаний. Но все они, словно сговорившись, посмотрели на небольшого роста сухонького человека, стоявшего поодаль от группы жестикулировавших и толкавшихся охотников. То был секретарь и бессменный казначей местного охотобщества Гуськов, которого больше знали и звали по имени Петрович.

Право на внимание собратьев по ружью и удочке он заслужил честным и долголетним сиденьем на выборных должностях при обществе, не говоря уже про богатые трофеи, которые Петрович добывал в лесу острым глазом и твердой рукой. Разумеется, при посредстве ружья.

Польщенный вниманием, Петрович присел на ступеньки сельмага, благо магазин закрылся на учет, проглотил красный шарик с витамином С и приготовился рассказывать. Члены охотобщества разместились возле Петровича, закурили и приготовились слушать.

— Опять же порох, — задумчиво проговорил Петрович. — Порох-то порохом, да и без него при случае обходятся, хоть и говорят, что пальцем колодца не выроешь. Зверя, его на испуг можно взять. Птицу нельзя, а зверя можно. Не каждый, конечно, сумеет.... А можно... Сам удостоверился в этом.

Прицепилась ко мне недавно бессонница. Замучила проклятущая. Лягу спать и не сплю. Ворочаюсь, ворочаюсь, а сна все нет. Откуда его взять? Половина моя раскопала причину: «Это у тебя от умственной работы». Может, и правда. Сами знаете нашего Вулкана Тихоновича. Одолел меня протоколами и статистической отчетностью.

То ему подсчитай затраты человеко-часов на убиваемость одного зайца, то начисли средний процент попадаемости в селезней. Недавно и вовсе озадачил. Прикинь, говорит, в уме, а потом перепроверь на счетах — перетягивает по удельному весу карась окуня в подледном

лове или окунь карася? Причем, говорит, в центнерах изобрази всю эту картину. Да только не говорит, как мне изображать эту картину, коль на дворе лето и от зимнего лова одна рукавичка прожженная на память осталась.

Цирк, а не работа. Верите: лягу спать, закрою глаза, а в темноте — зверье разное бумажками шуршит. Пернатые порхают с бланками и чирикают. Чирик—сюда. Чирик—туда. Под ними пушные зверюги с протоколами мечутся. Из глаз у них цифры выскакивают, хвосты процентами прикручены. Форменная галлюцинация первой группы! А что делать? Правду говорят: каково живется, таково и спится.

Петрович замолчал, проглотил витаминный шарик и опять:

— Тут бы при моем галлюцинационном состоянии в самый раз удариться с ружьишком куда-нибудь... На денек-другой. Смотришь, и спать бы стал. Нельзя... Отчетность сорвется. А в лес, братцы, тянет и тянет, словно ручку к чернильнице.

Да-а... Вышел я как-то ночью на улицу. Свежим воздухом подышать и от бессонницы прогуляться. Кругом все спят, даже сторож у базы не выдержал: прикорнул, сердешный, на завалинке. Один я в единственном числе бодрствую. Тоскливо стало. Побрел куда глаза глядят. Иду, а сам думаю. Так, думавши, незаметно перешел плотину, обогнул овраг, что перерезал дорогу на «Звонкие колокольчики», и дошел до леса. Шагаю потихоньку дальше. Кругом деревья, через них луна просматривается. Вдруг слышу шорох. Кто-то за спиной у меня крадется. Оглядываюсь....

Слушатели замерли. Петрович ловко перекинул с ладони в рот еще один витаминный шарик и продолжал:

— Оглядываюсь, значит, и вижу... Матерого... Годов десяти и килограммов на шестьдесят волчище. Левое ухо — как решето просвечивает, от дроби. Из наших кто-то бил и не убил. Я стою, и он не двигается... Соображает что-то. Значит, думаю, и мне соображать надо.

Заскочил я за дерево, сунулся по карманам. Шарил, шарил, и ничего сподручного не оказалось, кроме арифмометра. Как он попал в тужурку — ума не приложу! Зато мне сразу идея в ум пришла. Буду брать зверя на испуг. Схватил я арифмометр, крутанул ручкой, и машинка щелкнула... Наподобие курка, когда его взводят. Смотрю на зверя — насторожился. Эге, думаю, клюнуло! Видать, решил, что я с оружием. Не двигается... Соображает что-то, Значит, и мне быстрее соображать надо. И сообразил. Теперь-то, думаю, я тебя, милок, попутаю. Раз к соседнему дереву — и щелк! Потом к другому — и снова щелк. Так кругом волка я и обежал со щелканьем. Одним словом—окружил. Зверюга-то матерый, понял, чем это пахнет и... сиганул в сторону. Да в аккурат на репер угодил, что недавно лесники поставили. Репер новенький, свежеоструганный. Так он этим репером располосовал себе брюхо снизу доверху. Тут я подбежал и для ясности еще разок арифмометром щелкнул промеж ушей. Шкуру сдал, хоть она и попорченная оказалась. А насчет премии Вулкан Тихонович отказал. Говорит, не зарегистрированный в нашем районе, в списках не числится. Самотеком забрел. За самотечных волков платить не можем — сметой не предусмотрено... А? Каков наш, Вулкан Тихонович?!

— В чем дело, товарищи?—вдруг раздался зычный голос.—Я Вулкан Тихонович.

Увлеченные рассказом охотники не заметили председателя райохотобщества Вулкана Тихоновича Сорокина. И вот он стоял перед ними своею собственной шестипудовой персоной. Несмотря на относительную сухость земли и воздуха, Вулкан Тихонович был обут в болотные сапоги с голенищами выше колен. Между сапогами и гимнастеркой виднелись синие суконные брюки типа галифе. Живот плотно охватывал широкий комсоставский ремень, затянутый на первую дырку. На голове туго сидела брезентовая фуражка с козырьком, обтянутым кожей.

Строго осмотрев собравшихся, Вулкан Тихонович подозвал к себе Петровича и тоном, не допускающим возражения, произнес:

— Через час собираю летучее заседание, обеспечь явку членов правления и кандидатов в члены.

— Зачем людей-то беспокоить? — осторожно поинтересовался Петрович.

— Как зачем? — удивился Вулкан Тихонович. — Нельзя пускать это мероприятие на самотек.

— Какое мероприятие, Вулкан Тихонович?

— Ты что, Петрович, всерьез или в шутку? Распределение пороха, по-твоему,—не мероприятие?

— На кой шут его распределять? Каждый придет, билет покажет и купит, сколько ему надо — банку там или десять... Рас-пре-де-лять... Мерила баба клюкой, да махнула рукой.

Сорокин осуждающе посмотрел на казначея и назидательно заметил:

— Что такое порох сам по себе? Ничто. Сгорел и нет его, даже дыма не увидишь... Порох

в распределении — совсем другой коленкор. Тут, брат, явление общественное.

— Слабо доходит до меня смысл, Вулкан Тихонович. Глаза вразбежку, мозги набекрень.

—Эх, Петрович, Петрович! Отстаешь ты в своем уровне. Средь кого мы порох будем делить? Среди членов охотобщества. Понимаешь: об-ще-ства. Потому и явление общественное. Иди-ка, друг, выполняй директиву.

...Через час несколько правленцев пришли на квартиру Сорокина. Хозяин не показывался. В ожидании его, приглашенные тихо беседовали. Наконец из спальни вышел Вулкан Тихонович. Поздоровавшись, он спросил у Гуськова:

— Кворум налицо, Петрович?

— Кворум-то налицо, да лиц многих нету. Шустова, к примеру... Захотел молочка от быка.

— Всех ждать не будем, Шустова особенно. Придется завести на него персональное дело: за систематическую и предвзятую неявку на заседание правления. А теперь начнем. Нам, товарищи члены правления, крайне актуально необходимо провести мероприятие. Вы спросите, какое? Отвечаю: собрание охотников в районном масштабе. Рассмотреть на нем животрепешущий вопрос. Вы спросите, какой? О материально-техническом обеспечении охотников — о распределении пороха...

Послышался неодобрительный гул, кто-то громко засмеялся, но Сорокин одернул нарушителей порядка многозначительным взглядом, и шум прекратился.

— Вы сидите и думаете—председателю не черта делать, он и сочиняет разные мероприятия. Обратно ошибаетесь. У меня у самого пороха не хватает и гильзы не на месте, то есть пустые. Почему? Через примат общественного над личным. А сегодня поставим точку. Хватит одного моего примата. Давайте и вы приматывайте.

Члены правления по опыту знали, что легче уговорить лисицу добровольно перейти на положение горжетки, чем заставить Сорокина закруглиться. Поэтому терпели.

— Когда меня избрали, вас тоже выбирали, — расходился Вулкан Тихонович. — Функции у нас разные, а цель общая — на высоком уровне провести собрание. Сегодня прошу мне помочь в конкретном вопросе. В каком, спросите, вопросе? Отвечаю: в вопросе разработки сценария нашего собрания...

Посланцы охотников недоумевающе переглянулись, потом в полной растерянности уставились на Сорокина. Кто-то подтолкнул Гуськова. Петрович самокритично воспринял сигнал и буркнул:

— Вопрос есть, Вулкан Тихонович!

— Вопрос по существу?

— Без существа нет естества, — скороговоркой ответил Петрович.

— Был бы ответ, а вопрос найдется.

— Говори! Хотя... постой. Как мы договоримся мне задавать вопросы: письменно или устно? Что? Устно! Голосую! Кто против? Нет? Принято единогласно! Слово имеет секретарь и казначей товарищ Гуськов, чтобы задать мне вопрос в устном виде.

Петрович проворчал:

— Кино мы, что ли, собираемся ставить?

— Как в кино делается, — отпарировал Вулкан Тихонович, — я не знаю. А когда пайщиков райсоюз собрал, то у них все было расписано в письменном виде: кто предложение вносит, кто за кем выступает, кто отвод дает, а кто поддерживает. Полная картина собрания — с открытия и до закрытия. Это и называется сценарий. Мы что, хуже пайщиков? Они и пороху по-настоящему не нюхали, даром что торгуют им... Поэтому шутки в сторону и за работу. Надо решать вопросы по-солидному.

Усевшись поудобнее за столом, Вулкан Тихонович вынул именной блокнот, изготовленный за счет охотобщества в районной типографии, и приступил к делу.

— Собрание по вашему поручению открываю я. Говорю... Что говорю? Что и все говорят: «Разрешите... считать открытым... голосую... слово по составу... имеет... голосую... Отводов нет? Голосую...» Ну, в общем, понятно... Ошибки вроде не должно быть. Я переписал без ошибки, как происходило у пайщиков.

Насчет регламентов и повестки дня. Повестку дня зачитывает Петрович. Потом я говорю: «Кто за предложенную повестку дня в составе одного вопроса?» Пауза. «Принято единогласно». Пауза. Пока я лично принимаю участие в голосовании, собрание ведет Петрович. Ему можно не голосовать, потому что он зачитал повестку дня, значит, с ней согласен. Можешь руки не поднимать, Петрович!

— Стриг черт свинью: визгу много, шерсти нет.

— Будет порох — будет и шерсть, Петрович. Пишем дальше... Про регламенты. Их много. Докладчику регламент нужен? Выступающим тоже. А для вопросов? По справкам? На перерывы? Придется внести общее пред-

ложение: «Есть мнение установить регламент по звонку: первый звонок — предупреждение, второй — конец регламента. Перерыв объявлять голосом. «Голосую». «Принято единогласно».

Движемся дальше. «Доклад окончен. У кого будут вопросы? Условимся устные вопросы задавать в письменном виде». Это уже говорю не я. Я прочитал доклад и иду садиться обратно в президиум. Говорит за меня Петрович. Он будет временным председателем, пока я докладываю.

— Работка, — проговорил Вулкан Тихонович, смахивая с носа готовую вот-вот скатиться крупную каплю пота. — Пятую страницу исписываю, а только к прениям подошли. Как мы организуем прения? Надо бы Раскачкина выпустить... Согласны? Что мне сказать? Запишем мои слова: «Первым в прениях по докладу выступает кандидат в члены охотничьего общества товарищ Раскачкин. Прошу остальных последовать его примеру и записываться для выступлений и предложений, справок, поправок и дополнений». Ишь ты, в рифму получилось. Вот все удивятся. Наверняка грохнут аплодисментами. Как же вести себя председателю в случае аплодисментов? Призывать к порядку или вместе с собранием хлопать? Что же зафиксировать по этому поводу в сценарий? Пожалуй, так пойдет. Пишем: «Председатель советуется с президиумом и объявляет: «Есть такое мнение: после официальной части неофициальную не устраивать, а дать тематический концерт «Курок на взводе». Туда и перенести аплодисменты».

С аплодисментами утрясли вопрос. Кажись, дело к концу идет. Остается самая малость: принять резолюцию, мероприятия и мероприятия по выполнению мероприятий. Тут просто. Выберем три комиссии, предоставим слово трем председателям. Пусть они и доказывают свою правоту. А мне нужно серьезно подумать, какими словами закрыть собрание. ...«Собрание считаю закрытым...» Сухо, по-казенному... «Разрешите собрание закрыть...» А если какой-нибудь шутник крикнет: «Не разрешим!» Что тогда? Сидеть с открытым собранием? Может, так: «До начала концерта остается десять минут. Поэтому собрание закрывается». Нельзя... обидятся охотники... скажут: «Мы не на концерт шли, на собрание».

Вот заклинило мозги, черт побери! Товарищи, члены правления, Петрович, посоветуйте! Това... Спят... Уснули... Дрыхнут и сны небось видят?! А до конца собрания им и дела нет! Надо будить и советоваться. Петрович, Петрович... Остальные товарищи... Проснитесь! Петрович!

— А? Что? — пробормотал спросонок Петрович, приподнимая голову.

— Как будем закруглять собрание? Не решили! Поднимай народ.

Уговорами, легкими толчками и шутками Петровичу удалось добиться от правленцев вертикального положения.

Вулкан Тихонович внушительно поднялся и... Но открылась дверь, и усталые, заспанные охотники увидели своего запоздавшего коллегу. Бодрый и чем-то довольный, Шустов энергично проталкивался к столу, на ходу здороваясь и объясняя причину запоздания.

— В магазине задержался. Порох там продавали. Наших понабежало — вагон. Ну, и пришлось в очереди потолкаться. Зато теперь я с припасами, братцы. Последние пять банок ухватил. Мировой порох... бездымный... марки «Сокол». Так о чем вы тут калякали без меня?

Никто ему не ответил. Даже Петрович.

МОЯ ЖИЗНЬ В СТЕНГАЗЕТЕ

(Рассказ члена профсоюза)

Впервые я поселился в стенной газете, вернее, мне предоставили там площадь два года назад. Конечно, сам я об этом никого не просил и просить не собирался. Вот как это получилось.

Заходит к нам в мастерскую гражданка и желает пальто габардиновое в чистку сдать. Прикинул я взглядом и определяю ее на вид как особу нормальную, то есть спокойную и без скандальных замашек. А потому и думаю: «Тебе, милая, не на службу, торопиться некуда, подождешь малость». Не люблю я, понимаете, работать, когда очереди нет. Значения своего не чувствуешь.

Особа, то есть клиентка, выложила пальто на прилавок и постаивает себе молча. И я

молчу, для видимости старые квитанции перебираю. А сам на дверь поглядываю: авось, зайдут еще два-три клиента, станут в порядок живой очереди, тогда и за дело можно браться.

Проходит минут пять — никого нет. Я квитанции с другого конца перебирать начал, а гражданка стоит и молчит. Мне ее поведение по душе пришлось. Даже радостно за женский пол стало. Родятся же на свет такие женщины: спокойные, серьезные, с пониманием обстановки! Видит, человек занят, и не беспокоит его по пустякам.

Только я так про нее хорошо подумал, как она мне вопрос:

— У вас заведующий есть?

— Само собой разумеется, — отвечаю. — В пивном ларьке и то есть, а у нас и подавно. По штату положено иметь. А что положено по штату...

— Позовите его! — перебила она меня. Сказала и на меня серьезно посмотрела. Если бы орать начала, тогда бы и я разошелся. А то, знаете, спокойненько и вежливенько за жабры взяла. Пришлось позвать Константина Михайловича, зава нашего. Женщина-то депутатом оказалась. А кто знал? Снял с меня стружку Константин Михайлович и предупредил не допускать впредь подобного затоваривания.

Само самой разумеется, я сделал оргвыводы из данной критики и забыл про этот пограничный инцидент.

А через недельку мне об этом случае напомнили. В стенгазете. Появилась там заметочка под ехидным заголовком: «На работе или дома?» Прочитал я и теряюсь в догадках: кто же это мог смастерить окаянную заметку? Глянул еще раз на газету, разобрал подпись под заметкой: «А. Кочеткова», и сразу все стало на свое место. Шурка, значит! Кассирша наша. Сидит она напротив меня за стеклянной перегородкой, как черт в стакане, и через прозрачное стекло ей все видно. Вот и засекла. Тут я вспомнил, что она и редактор нашей газеты «За чистоту, без пятен».

Само собой разумеется, намотал я себе на ус данное обстоятельство и ликвидировал очереди. Чуть не у дверей клиентов стал встречать.

Месяца два прожили спокойно. Хоть и нарушений особых за мной не числилось, но новую газету читал с опаской. А вдруг Шурка опять меня протащит? У ней из стакана большая видимость.

Как думал, так и случилось. Вывесили однажды новый номер, и возле него сразу смех образовался. Захотелось и мне выяснить причину всеобщего веселья. Подхожу и... Конечно, Шурка! Накапала художнику, и тот конкретно нарисовал мои взаимоотношения с заказчиками.

Был такой случай. За чужие грехи расплачивался. Мастер не в ту краску платье окунул, а тут стой и оправдывайся... Доказывай, что ты не верблюд, а краска на краску не приходится. В конце дискуссии нервы у меня сдали. Ну, и перешел на личности, имея в виду клиентку. Шурка и поместила меня опять в газету.

На следующий день зав. мне выговорок подкинул. «За отсутствие терпения в разговоре с посетителями при исполнении служебных обязанностей». И еще устно предупредил. А все через нее, Шурку! Задумался я. Доконает меня Шурка! И чего она взъелась? Надо, пока не поздно, от нее избавиться. А как? С какой стороны ключ подобрать? С десяток ходов перебрал, пока не пришло на ум одно толковое рационализаторское предложение.

Захожу к заву и так это осторожненько намекаю ему, что неплохо бы в кассе заменить стеклянные перегородки на стальные. «Зачем?» — спрашивает. Поясняю, что, мол, деньги... стекло... как бы чего... «Нельзя, — говорит, — мерить на старый аршин. А потом у тебя телефон рядом. В случае чего такого подозрительного милицию можешь вызвать».

Провалилась моя затея оградиться от Шурки непрозрачным железом. Завел при случае разговор с председателем месткома.

— Понимаешь, Матвей Иванович, — говорю ему, — какая неприятная ситуация у меня складывается.

— В чем суть?

— Нахожусь я напротив кассирши нашей, Шурки, и нет-нет да и засмотрюсь на нее, как она косматой головкой вертит. Сегодня смотрю, завтра смотрю, а там, смотришь, и морально-бытовое разложение получится. Вам же работа—обсуждать меня. Уберите ее в другое помещение, чтоб от греха подальше.

— Это ты, мой дорогой, правильно подметил, что мы тебя обсуждать будем. Определенно будем. Как только жена твоя даст нам сигнал, так сразу и на местком вызовем. Семью твою спасать. Учти. Взносы уплатил? Ну, пока!

Снова я остался при пиковом интересе. Заказы вежливо принимаю, квитанции быстро выписываю, а на Шурку смотреть спокойно не могу, так она своими заметками мне в печён-

ки въелась. И не разговариваем почти, разве по службе перебросимся парой слов.

И вдруг она ни с того, ни с сего обращается ко мне:

— А как вы смотрите, Борис Иванович, на прием заказов на дому? Добиться бы машины и ездить по домам.

— Правильные мысли, — отвечаю. — И не только собирать заказы, но и готовые вещи отвозить клиентам. Люди останутся довольны, план перевыполним, вот только...

— Борис Иванович! Внесите такое предложение нашей дирекции через стенную газету.

— Что...? Я... писать в газету?..

— Ничего страшного. Соображения ваши мне нравятся, деловые. И изложите их в заметке, а мы вас поддержим. Договорились?

Конечно, мы договорились. Вообще, у меня характер неплохой и с людьми я быстро нахожу общий язык. Само собой разумеется, написал я заметку. Поместили. А через месяц у нашего подъезда стоял новенький «Москвич» с надписью: «Бытовое обслуживание».

А Шурка? Думаете, оставила меня в покое? Не такой она человек, чтобы спокойную жизнь трудящимся обеспечивать. Заставила регулярно писать в газету. Это еще что! Определила меня в школу, словно первоклашку какого. В школу рабкоров, учиться писать. Потом и в редколлегию избрали.

И началась моя вторая жизнь в стенгазете, положительная.

Организовали мы как-то через газету поход за экономию и бережливость. Стал и я подмечать, где что лишнее, и наткнулся на такую мысль: зачем нам кассирша? Деньги вместе с оформлением заказа я сам могу спокойно брать. Одной штатной единицей меньше. В месяц это чистых пятьсот рублей экономии, а за год составит... Подсчитал я сэкономленные рубли и... опомнился.

«Свинья ты, думаю про себя, неблагодарная. Человек же тебя к печати приобщил, а ты ее с насиженного места гонишь? Какого же она о тебе распрекрасного мнения останется? Подумает еще, что мстишь ей за прошлое! Придется дать задний ход с таким предложением. Подожду. Может, замуж выйдет и сама с этой штатной должности спишется, то есть по собственному желанию».

Оставить-то в покое я ее оставил, но и про экономию забыть не могу. Ведь эта лишняя штатная единица так и просится под сокращение.

Взвесил все факты «за» и «против», смотрю, общественное перевесило личное. Значит, надо писать, но и Шуру предупредить заранее, чтобы от неожиданности не расстроилась.

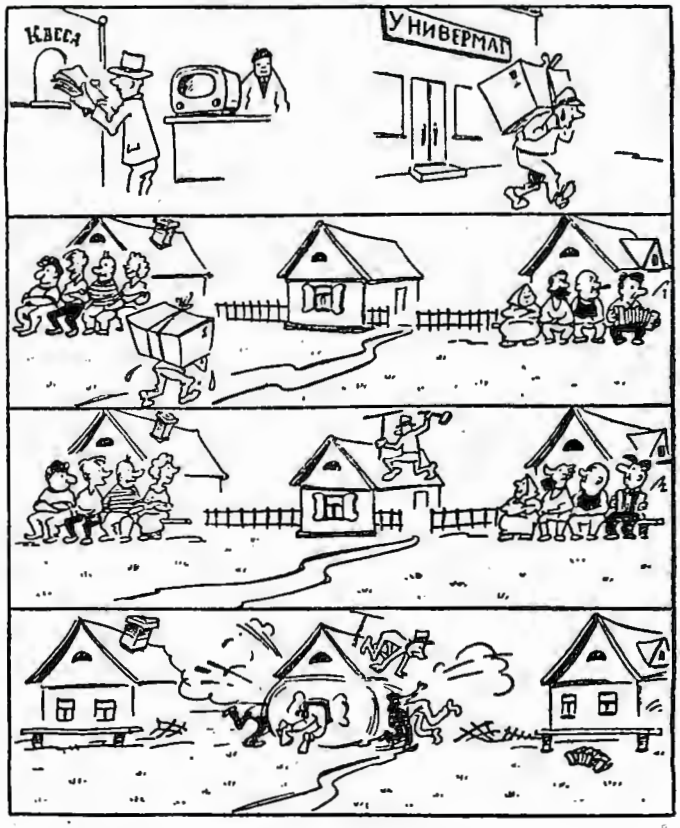
Набрался решимости, подошел к ней и рассказал все как есть. И про экономию, и насчет замужества. Рассказал и жду. Чего? Возмущения, слез, наконец, гордого молчания с презрительным взглядом в твою сторону. Жду и... дождался! Посмотрела на меня Шура и как бросится ко мне! Я от неожиданности растерялся, а она обняла меня и говорит радостно:

— Дорогой вы мой, Борис Иванович! Как вы меня выручили! Просто не представляете! Вот здорово! Молодец, замечательный молодец!

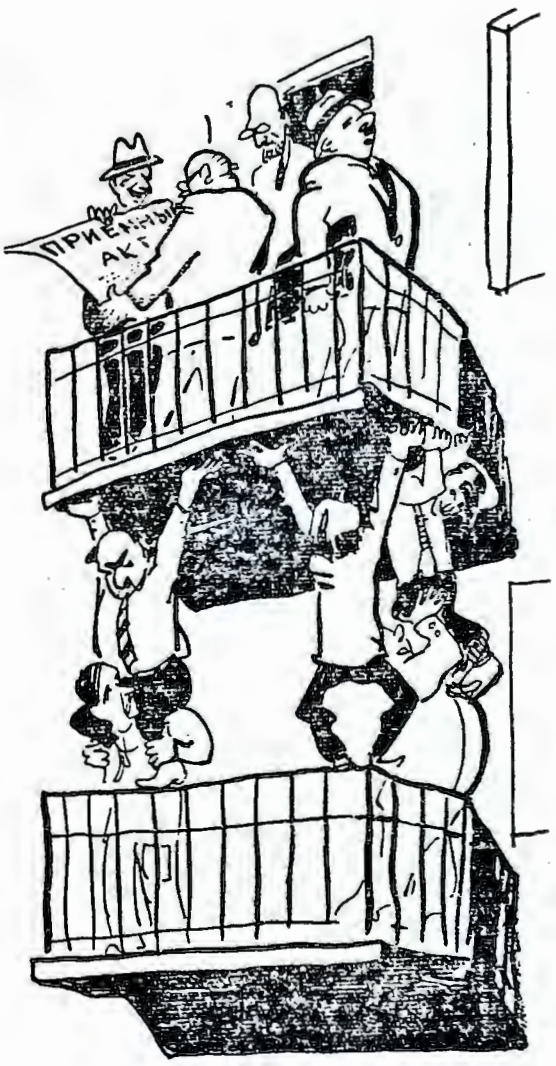
— Чему вы радуетесь, Шурочка! Я вас, можно сказать, под сокращение штатов подвожу, а вы от радости с ума сходите.

— Знаете, я все уши прожужжала нашему заву: отпустите меня, хочу ехать на стройку, в Сибирь. А он мне одно: ищи замену — уволю. Замену-то где взять? Не очень много охотников в конторе просиживать... Какое счастье, что вам такая мысль в голову пришла! Теперь мы ее быстро провернем.

И провернула. Сдала по акту кассу со всей наличностью и укатила в Сибирь. А на прощанье мне оставила... Что оставила? Конечно, газету. Говорит, товарищ прожил в газете интересную жизнь, вырос, так сказать, с помощью печати, ему, дескать, и карты в руки. Согласились с ней. А почему бы и нет? Человек она хороший, людям вреда не причиняла. А критика... Что ж, на критику надо отвечать самокритикой. Сам в этом убедился.



Без слов..



Успеть бы акт подписать...

Приключения и ПУТЕШЕСТВИЯ

А. Конан-Дойль

УРИМ И ТУММИМ

(Из рассказов «У камелька»).

Мой друг Уорд Мортимер в свое время был одним из лучших знатоков восточной археологии. Он много писал по этому вопросу. Два года он прожил в гробнице в Фивах, пока производил раскопки в долине Королей, и, наконец, вызвал большую сенсацию, выкопав предполагаемую мумию Клеопатры из внутреннего помещения храма Хоруса в Филе. Было ясно, что ему предстояла большая карьера, и никто не удивился, когда его избрали директором-хранителем Белморстритского музея и профессором Восточного колледжа.

Была только одна причина, которая делала положение Уорда Мортимера несколько затруднительным в Белморстритском музее, а именно — высокий авторитет человека, которого он должен был заменить. Профессор Андреас был человеком большой учености с европейской известностью. Его лекции посещались студентами со всех концов мира, и его удивительное умение заведовать вверенной ему коллекцией было известно всем ученым общества.

Поэтому большой неожиданностью для всех явилось, когда он в возрасте 55-ти лет вышел в отставку и удалился от обязанностей, которые давали ему и средства к жизни и были его отрадой. Профессор и его дочь оставили комфортабельную квартиру, которая сообщалась с музеем и являлась официальным жилищем директора-хранителя, и мой друг Мортимер по-холостяцки поселился в ней.

Услышав о назначении Мортимера, профессор Андреас написал ему очень любезное и лестное поздравительное письмо.

Я присутствовал при их первой встрече и сопровождал Мортимера по музею, когда профессор показал нам удивительную коллекцию, которую он так долго лелеял. При осмотре нас сопровождала красивая дочь профессора и молодой человек, капитан Уилсон, который должен был, как я понял, скоро стать ее мужем.

В музее было 15 зал, но Вавилонский, Сирийский и центральный зал, в котором находились иудейская и египетская коллекции, были самыми роскошными.

Профессор Андреас был спокойным, суровым пожилым человеком с чисто выбритым лицом и бесстрастными манерами, но его темные глаза искрились и черты лица оживлялись энтузиазмом, когда он обращал наше внимание на редкость и красоту некоторых экземпляров. Его руки прикасались к ним с такой любовью, что каждый мог почувствовать его гордость и одновременно печаль при мысли о том, что эти редкости переходят отныне из его попечения к другому.

Он показал нам постепенно мумии, папирусы, скарабеи (жуки), надписи, иудейские реликвии и копию знаменитого семисвечника Храма, который был привезен Титом в Рим и по предположению некоторых лежал в настоящее время на дне Тибра. Затем он подошел к витрине, которая стояла в центре зала, и посмотрел с благоговением через стекло.

— Это не новинка для эксперта, каким являетесь вы, мистер Мортимер, — сказал он, — но я полагаю, что вашему другу, мистеру Джексону, будет интересно посмотреть это.

Наклонившись над витриной, я увидел пластинку, приблизительно пяти квадратных дюймов, которая состояла из 12 драгоценных камней в золотой оправе с золотыми крючками на двух концах ее. Камни отличались по виду и цвету, но все они были одинаковой величины. Их форма, расположение и постепенность оттенков напоминали мне ящик с акварельными красками. На поверхности каждого камня был выправирован иероглиф.

— Мистер Джексон, вы слыхали об Уриме и Туммиме?

Я слыхал об этом выражении, но значение его было для меня весьма туманно.

— Урим и Туммим — это название драгоценной пластинки, которая возлагалась на грудь иудейского первосвященника. Иудеи относились к этому украшению с особым благоговением, несколько напоминающим чувство, с которым древний римлянин относился к книгам Сибиллы и Капитолии. Здесь имеется, как вы видите, двенадцать великолепных камней, на которых начертаны таинственные иероглифы. Считая с верхнего угла левой стороны, эти камни — сердолик, хризолит, изумруд, рубин, лазуревый камень, сапфир, оникс, агат, аметист, топаз, берилл и яшма.

Я был поражен разнообразием и красотой этих камней.

— Имеет ли эта драгоценность какую-нибудь особенную историю? — спросил я.

— Эта вещь глубокой старины и громадной ценности, — сказал профессор Андреас. — Есть основания предполагать, что эта пластинка — подлинный «Урим и Туммим» храма Соломона. Несомненно, нет ничего более прекрасного ни в одной коллекции в Европе. Мой друг, капитан Уилсон, который здесь находится, большой знаток драгоценных камней и он скажет вам, какой они чистой воды.

Капитан Уилсон, человек с загорелым, серьезным и решительным лицом, стоял около своей невесты по другую сторону витрины.

— Да, — сказал он отрывисто, — я никогда не видал более прекрасных камней.

— И золотая оправа также заслуживает внимания. Древние народы превосходили... — профессор, как видно, хотел отметить оправу камней, когда капитан Уилсон прервал его.

— Вы увидите еще более прекрасный образец их ювелирной работы в этом подсвечнике,—сказал он, повернувшись к другой витрине, и мы все присоединились к его восхищению чеканной подставкой и тонкостью украшающих ее ветвей. Вообще это было интересное и новое чувство — увидеть столь редкие вещи, притом с объяснениями такого большого знатока. И когда, наконец, официально передав драгоценную коллекцию на попечение моего друга, профессор Андреас закончил осмотр, я не мог не пожалеть его и не позавидовать его преемнику, чья жизнь должна была быть посвящена столь приятному долгу.

Через неделю Уорд Мортимер полностью обосновался в своей новой квартире и стал полным хозяином Белморстритского музея.

Через две недели мой друг устроил небольшой обед для нескольких своих друзей, таких же холостяков, чтобы отпраздновать свое повышение в должности. Когда его гости уезжали, он потянул меня за рукав и дал мне знать, чтобы я остался.

— Вам идти только несколько сот ярдов, — сказал он. — Вы можете остаться и спокойно выкурить со мной сигару. Я очень нуждаюсь в вашем совете.

Я снова уселся в кресло и закурил одну из его превосходных сигар. Проводив последнего гостя, он уселся против меня и вынул письмо из кармана.

— Это анонимное письмо я получил сегодня утром, — сказал он, — я хочу прочесть его вам и просить вашего совета.

— Пожалуйста, охотно, если это заслуживает внимания.

— Вот что здесь написано: «Сэр, серьезно советую вам установить чрезвычайно тщательное наблюдение за многочисленными ценными предметами, доверенными вам. Я не думаю, что существующая ныне система одного сторожа достаточна для этого. Будьте настороже, иначе может случиться непоправимое несчастье».

— Это все?

— Да, это все.

— Хорошо, — сказал я, — по крайней мере, очевидно, что это писал один из немногих людей, знающих, что у вас имеется только один сторож ночью.

Уорд Мортимер протянул мне письмо со странной улыбкой.

— Умеете вы различать почерки? — спросил он. — Тогда взгляните на это.

Он положил другое письмо передо мной.

— Посмотрите на букву «П» в слове «поздравляю» и в слове «предметами», также на прописную букву «Я». Посмотрите на манеру ставить тире вместо точки.

— Несомненно, эти письма написаны одной рукой с некоторой попыткой изменить почерк в первом письме.

— Второе письмо, — сказал Уорд Мортимер, — это письмо с поздравлением, которое написал мне профессор Андреас, когда я получил назначение сюда.

Я посмотрел на него с изумлением. Затем я повернул письмо обратной стороной и, действительно, там находилась подпись «Мартин Андреас». Не могло быть никакого сомнения у всякого, имеющего мало-мальски познания в графологии, что анонимное письмо написал профессор. Это было непонятно, но это было фактом.

— Зачем он это сделал? — спросил я.

— Именно об этом я хотел спросить вас. Если у него имелись опасения, почему он не мог прийти ко мне и прямо сказать о них?

— Вы будете с ним говорить об этом?

— Сомневаюсь. Он может отрицать, что писал мне.

— Во всяком случае, — сказал я, — это предупреждение сделано другом, и я бы послушался его. Достаточны ли существующие предосторожности, чтобы застраховать вас от грабежа?

— Я полагал бы, что достаточны. Публике разрешается посещать музей от 10 часов до 5-ти и к дверям приставлены сторожа.

— А ночью?

— Когда публика уходит, мы тут же спускаем большие железные ставни, которые безусловно совершенно непроницаемы. Сторож — знающий свое дело человек. Он находится в швейцарской и каждые три часа обходит все помещение. В течение всей ночи в каждой комнате горит электрический свет.

— Трудно предложить нечто большее. Может быть, оставлять дневных сторожей на ночь?

— Мы не в состоянии позволить себе это.

— Во всяком случае, я бы согласовал этот вопрос с полицией и просил бы поставить специального полицейского снаружи, — сказал я. — Что касается письма, то если писавший его желает остаться неизвестным, я думаю, он имеет право на это. Время покажет, почему он избрал такой странный путь.

Мы прекратили этот разговор, но по возвращении домой я всю ночь ломал себе голову над вопросом — почему профессор Андреас предпочел написать анонимно предупреждающее письмо. То, что письмо было написано им, было для меня так ясно, как если бы я при этом сам присутствовал. Он предвидел какую-то опасность для коллекций. Не оставил ли он свою работу, потому что предвидел эту опасность? Но если это так, почему же он не решился предупредить Мортимера лично. Я гадал и гадал, пока не заснул беспокойным сном, от которого очнулся позже обыкновенного.

Около девяти часов мой друг Мортимер ворвался ко мне в комнату с выражением ужаса на лице. Из всех моих знакомых он был наиболее аккуратным человеком, а теперь его воротник не был пристегнут с одной стороны, галстук не завязан и шляпа едва держалась на голове. Я понял все, что случилось, по его взбешенным глазам.

— Музей ограблен? — вскричал я, спрыгнув с кровати.

— Вероятно, да! Те драгоценности! Драгоценные камни из «Урим и Туммим», — прошептал он, задыхаясь. — Я иду в полицию. Приходите в музей скорее, Джексон! До свидания!

Как безумный он выбежал из комнаты, и я услышал, как его шаги загрохотали по лестнице.

Я быстро собрался и пошел в музей. Мортимер был уже там с инспектором полиции и еще одним пожилым человеком, который оказался мистером Первисом, одним из компаньонов фирмы Морсон и К°, — известных ювелиров. Как знаток драгоценных камней, он всегда помогал полиции.

Камни находились возле витрины, в которой хранился нагрудник иудейского первосвященника. Пластинка была вынута и лежала на стеклянной крышке витрины. Все три головы склонились над ней.

— Совершенно очевидно, что чьи-то руки прикасались к нему, — сказал Мортимер. — Я сразу это заметил, когда проходил по залу сегодня утром. Я рассматривал эту вещь вчера вечером, следовательно, ясно, что все произошло в течение ночи.

Было очевидно, как он сказал, что кто-то работал над драгоценностью. Оправы верхнего ряда четырех камней: сердолика, хризолита, изумруда и рубина — были шероховатыми и зазубренными, словно кто-то их царапал. Камни покоились на своих местах, но прекрасная ювелирная работа, которой мы восхищались всего только несколько дней тому назад, была грубо помята.

— Мне кажется, — сказал полицейский инспектор, — что кто-то пытался вынуть эти камни.

— Я боюсь,—отозвался Мортимер,—что он не только пытался, но и сделал это. Я уверен,

эти четыре камня искусная имитация, которая вставлена взамен настоящих камней.

То же подозрение было, очевидно, и у эксперта, потому что он тщательно рассматривал эти четыре камня с помощью лупы. Он подверг их многочисленным испытаниям и, наконец, оживленно повернулся к Мортимеру.

— Поздравляю вас, сэр, — сказал он сердечно, — я ручаюсь своей репутацией, что все эти четыре камня настоящие и совершенно необыкновенной чистоты.

Румянец начал возвращаться на испуганное лицо моего бедного друга, и он свободно вздохнул.

— Слава богу! — воскликнул он. — Тогда чего же добивался вор?

— По всей вероятности, он имел намерение взять камни, но ему помешали.

— В таком случае вор должен был вынуть их сразу, но оправа каждого из них ослаблена, а камни все на месте.

— Это действительно чрезвычайно странно, — сказал инспектор. — Я не припоминаю такого случая в своей практике. Надо повидать сторожа.

Позвали сторожа. Это был человек с военной выправкой, честным лицом, он был не менее обеспокоен, чем сам Уорд Мортимер.

— Нет, сэр, я не слышал ни звука, — ответил сторож на вопросы инспектора. — Я обошел музей четыре раза, как обычно, и ничего подозрительного не заметил. Я занимаю эту должность уже десять лет, но ничего подобного никогда не случалось ранее.

— Не мог ли вор проникнуть через окно?

— Невозможно, сэр.

— Или пройти мимо вас через двери?

— Нет, сэр, я никогда не оставляю своего поста, за исключением того времени, когда делаю обходы.

— Имеются ли еще выходы в музее?

— Только дверь в квартиру мистера Уорда Мортимера.

— Она запирается на ночь, — объяснил мой друг, — и для того, чтобы добраться до нее с улицы, нужно также открыть дверь извне.

— А помещение ваших слуг?

— Их комнаты расположены совершенно отдельно.

— Так, так, — сказал инспектор. — Это все на самом деле совершенно непонятно. Однако, согласно заявлению мистера Пурвиса, вред не причинен.

— Я могу поклясться, что камни настоящие.

— Из этого явствует, что витрина только повреждена. Тем не менее, я был бы очень доволен, если бы мог обойти все помещения и посмотреть, не можем ли мы найти какой-нибудь след нашего гостя?

Исследование, которое продолжалось все утро, было очень тщательным и искусным, но в конце концов ни к чему не привело. Инспектор указал нам, что имелись два возможных входа в музей, которые мы не приняли во внимание. Один из них—через люк в коридоре, другой — через окно чулана, из которого был виден зал, куда проник преступник. Но так как ни в подполье, ни в чулан нельзя было войти, если вор не находился уже внутри запертого помещения, то это открытие не имело практического значения, тем более, что пыль и в подполье и на чердаке убедила нас, что никто не воспользовался этими входами. В конце концов, мы кончили тем же, чем и начали, не найдя решения, как, зачем и кем была испорчена оправа этих четырех камней.

Мортимеру оставалось только одно: предоставить полиции продолжать бесплодные поиски. Он попросил меня проводить его к профессору Андреасу. Он захватил с собой оба письма, намереваясь уличить своего предшественника в том, что он написал анонимное предупреждение, и попросить его объяснить, каким образом он точно предвидел то, что действительно случилось.

Профессор жил в маленькой вилле в Верхнем Норвуде, но служанка сообщила нам, что профессора нет дома. Заметив наше разочарование, она спросила, не пожелаем ли мы повидать мисс Андреас, и проводила нас в скромную гостиную.

Я уже упомянул, что дочь профессора была очень красива. Она была белокура, высока и грациозна, с нежным оттенком кожи, который французы называют «матовым». Когда мисс Андреас вошла в комнату, я был поражен, увидев, как она изменилась за последние две недели. Ее молодое лицо осунулось и ясные глаза были полны печали.

— Отец уехал в Шотландию, — сказала она. — Он очень устал, у него было много забот. Он только вчера уехал.

— Вы сами выглядите несколько усталой, мисс Андреас, — сказал мой друг.

— Я очень беспокоилась за отца.

— Можете ли вы мне дать его шотландский адрес?

— Да он у своего брата, священника Давида Андреаса.

Мортимер записал адрес и мы удалились, ничего не сказав о цели нашего визита.

Итак, мы очутились в том же положении, в каком были утром. Нашим единственным ключом к загадке было письмо профессора, и мой друг решил поехать на следующий день в Шотландию, чтобы добраться до сути анонимного письма. Однако новое обстоятельство изменило наши планы.

На следующее утро я проснулся очень рано от стука в дверь моей спальни. Это был посыльный с письмом от Мортимера.

— Приходите, — гласила записка, — дело становится все более и более удивительным.

Придя в музей, я застал моего друга шагающим взад и вперед по центральному залу, а старый солдат, который охранял помещение, стоял неподвижно в углу.

— Мой дорогой Джексон, — воскликнул Мортимер, — я счастлив, что вы пришли, так как это совершенно необъяснимое обстоятельство!

— Что же случилось?

Он указал рукой на витрину, в которой лежал нагрудник.

— Посмотрите на витрину, — сказал он.

Я взглянул и не мог удержаться от возгласа удивления. Оправа среднего ряда драгоценных камней была исковеркана тем же образом, что и верхняя. Из 12 драгоценных камней восемь были потревожены одинаковым способом. Оправа нижних четырех камней была чиста и нетронута, остальные лежали неправильно.

— Камни заменены? — спросил я.

— Нет, я уверен, что верхние четыре камня те же, которые эксперт признал настоящими вчера, потому что я заметил вчера небольшое пятнышко на изумруде. И так как воры не извлекли верхних камней, нет причины думать, что нижние подменены. Вы говорите, что ничего не слыхали, Симсон?

— Нет, сэр, — ответил сторож. — Но когда после захода солнца я совершил мой обход и специально посмотрел на эти камни, я сразу заметил, что кто-то возился с ними. Тогда я позвал вас и сказал вам об этом. Всю ночь я ходил туда и обратно, но не видел ни души и не слышал ни звука.

— Пойдемте наверх и позавтракаем, — сказал Мортимер, и мы поднялись в его квартиру. — Что же вы думаете теперь об этом деле? — спросил он.

— Это самое неслыханное, глупое дело, о котором я когда-либо слышал! Это может быть только делом рук сумасшедшего.

— Можете ли вы выдвинуть какую-нибудь версию?

Странная мысль пришла мне в голову.

— Эта вещь — иудейская реликвия, очень старинная и священная, — сказал я. — Как насчет антисемитизма? Нельзя ли предположить, что какой-нибудь фанатик решил осквернить...

— Нет, нет, нет! — вскричал Мортимер. — Этого не может быть. Подобный человек мог бы дойти в своем сумасшествии до того, чтобы уничтожить иудейскую реликвию, но во имя чего ему нужно ковыряться возле каждого камня так тщательно, что он может справиться только с четырьмя камнями в ночь? Мы должны найти лучшее решение, чем это, и мы должны сделать это сами, так как я не думаю, что наш инспектор может нам помочь. Первым делом, что вы думаете о Симпсоне, стороже?

— Есть ли у вас какие-нибудь основания подозревать его?

— Только то, что он единственный человек, находящийся в помещении.

— Но почему же он совершает такое бессмысленное разрушение? Ведь ничего не украдено.

— Мания?!

— Нет, не похоже. Я могу поклясться, что он здоров.

— Есть у вас какие-нибудь другие предположения?

— Ну, а вы сами, например. Вы не лунатик, случайно?

— Ничего подобного, уверяю вас!

— В таком случае я отказываюсь.

— А я не отказываюсь и имею план, благодаря которому все станет ясно.

— Посетить профессора Андреаса?

— Нет, мы найдем решение поближе, чем в Шотландии. Я вам скажу, что мы сделаем. Вы знаете об окне под потолком, которое находится в центральном зале? Мы оставим электрический свет там и будем сторожить в чулане, вы и я, и сами откроем эту тайну. Если наш таинственный гость обрабатывает в один прием четыре камня, ему осталось еще четыре. Вот почему у нас есть основание думать, что он явится сегодня ночью и закончит свою работу.

— Великолепно! — вскричал я.

— Мы сохраним этот секрет и ничего не скажем ни полиции, ни Симпсону. Вы присоединитесь ко мне?

— С величайшим удовольствием, — ответил я.

Так мы и решили.

В десять часов вечера я вернулся в Белморстритский музей. Насколько я мог заметить, Мортимер находился в состоянии нервного возбуждения, но было еще слишком рано, чтобы начать наше бодрствование, и потому мы остались приблизительно еще на час в его квартире, обсуждая все возможности странного дела, которое нам предстояло выяснить.

Наконец, грохот карет и шум шагов прохожих утих. Было приблизительно около 12 часов, когда Мортимер повел меня в чулан, из которого можно было видеть весь центральный зал музея. Мортимер побывал там днем и положил несколько мешков, так что мы могли спокойно лежать и смотреть. В окошке стекло было так покрыто грязью, что стоящему снизу было невозможно заметить, что за ним наблюдают. Мы немного протерли стекло в каждом углу и это позволило полностью наблюдать за залом под нами. В холодном белом свете электрической лампы все выглядело строго и ясно, и я мог различить малейшую деталь.

Глядя через мою маленькую щель, я разглядел каждую вещь, от громадного саркофага с мумией, стоявшего возле стены, до драгоценностей, которые привели нас сюда и которые сверкали и блистали в стеклянной витрине непосредственно под нами. В зале находилось много ювелирных изделий и много ценных камней, разложенных в многочисленных витринах, но эти изумительные 12 камней, из которых состоял «Урим и Туммим», сверкали и горели с таким сиянием, что затмевали все другие. Я изучал по очереди и изображения гробниц Сикары, фризы Карнака, статуи Мемфиса и надписи из Фив, но мои глаза все время возвращались к изумительной иудейской реликвии, а мой мозг — к странной тайне, окружавшей ее. Я был погружен в свои мысли, когда мой друг затаил дыхание и судорожно схватил меня за руку. И в ту же минуту я увидел, что привело его в такое возбуждение.

Я уже говорил о том, что у стены с правой стороны от входа (с правой стороны, когда мы смотрели сверху, и слева, когда входили в зал) находился большой саркофаг с мумией. К нашему невыразимому удивлению, ящик стал медленно открываться. Постепенно крышка отодвигалась и черная щель, образовавшаяся от этого, становилась все шире и шире. Это делалось так осторожно и тщательно, что движение было почти незаметно. Затем, по мере того, как мы не дыша наблюдали, в щели показалась белая тонкая рука, отодвигавшая изукрашенную крышку, затем другая рука и наконец лицо, лицо знакомое нам обоим — профессора Андреаса!

Крадучись, подобно лисе, выползающей из своей норы, он выскользнул из саркофага, поворачивая голову справа налево, останавливаясь, скользя и останавливаясь снова — настоящее олицетворение хитрости и осторожности.

Раздавшийся звук на улице сделал его неподвижным, и он стоял слушая, повернув ухо, готовый броситься в укрытие. Затем он снова пошел вперед на цыпочках, очень мягко и неслышно, пока не добрался до витрины в центре зала. Там он вынул связку ключей из кармана, отпер витрину, достал из нее иудейский нагрудник и начал работать над ним маленьким блестящим инструментом. Преступник находился непосредственно под нами, так что его склоненная голова мешала видеть, но мы догадывались по движению его руки, что он заканчивал странное обезображивание, которое было им начато.

Я понял по тяжелому дыханию моего друга и подергиванию руки, которой он все еще держал мою кисть, все его яростное возмущение при виде вандализма со стороны человека, от которого меньше всего можно было ожидать этого... Он, этот человек, который всего две недели тому назад с благоговением склонялся над уникальной реликвией, внушая нам уважение к ее старине и святости, теперь занимался возмутительным осквернением. Это было непостижимо, невозможно, — но все-таки здесь, в белом свете электрической лампы, под нами, стояла темная фигура с наклоненной седой головой и судорожно дергающимся локтем. Какое бесчеловечное лицемерие, сколько глубочайшей ненависти и злобы к своему преемнику надо было иметь, чтобы решиться на это ужасное святотатство. Было мучительно думать об этом и еще страшнее наблюдать. Даже я, у которого нет обостренных чувств знатока, не мог видеть это умышленное, обдуманное искажение старинной реликвии. Я вздохнул свободно, когда мой друг потянул меня за рукав, давая этим знак, чтобы я бесшумно следовал за ним. Только когда мы очутились в его квартире, он заговорил, и я увидел по его взволнованному лицу, как глубоко его возмущение.

— Отвратительный варвар! — воскликнул он. — Смогли бы вы поверить этому?

— Это невероятно!

— Он подлец или сумасшедший, одно из двух! Мы скоро узнаем это. Пойдемте со мной, Джексон, и мы скоро доберемся до сути этого черного дела.

Мортимер тихо открыл своим ключом дверь в музей, предварительно сбросив ботинки. Я последовал его примеру. Мы крались из комнаты в комнату, пока не добрались до большого зала, где стоял преступник, все еще сгибаясь и работая над центральной витриной.

Мы приближались так же осторожно, как раньше он это делал сам, но как бы тихо мы ни двигались, он все-таки нас заметил. Мы были на расстоянии 12 ярдов от него, когда он оглянулся и, издав сдавленный крик ужаса, побежал из музея.

— Симпсон! Симпсон! — закричал Мортимер, и далеко в перспективе освещенных электричеством дверей внезапно появилась плотная фигура старого солдата. Профессор Андреас также увидел его и остановился с жестом отчаяния. В тот же момент каждый из нас опустил руку на его плечо.

— Да, да, джентльмены,—задыхаясь, произнес он. — Я пойду с вами. Пожалуйста, в вашу квартиру, мистер Мортимер. Я должен вам все объяснить.

Негодование моего друга было так велико, что он не мог ничего ответить ему. Мы шли по обеим сторонам профессора, пораженный сторож замыкал шествие. Когда мы дошли до злополучной витрины, Мортимер остановился и осмотрел нагрудник. Один из камней нижнего ряда уже был потревожен, как и другие. Мой друг схватил украшение и злобно посмотрел на пленника.

— Как вы могли! — крикнул он. — Как вы могли!

— Это ужасно, ужасно! — сказал профессор. — Я не удивляюсь вам. Ведите меня в вашу квартиру.

— Да, но это дело не останется без разоблачения, — крикнул Мортимер. Он поднял нагрудник и осторожно понес его, в то время, как я шел рядом с профессором, словно полицейский с преступником. Мы прошли в квартиру Мортимера, предоставив старому солдату возможность самому разобраться в происшедшем. Профессор сел в кресло Мортимера и так смертельно побледнел, что все наше негодование превратилось в сочувствие. Стакан крепкого бренди привел его в себя.

— Мне теперь лучше, — сказал он. — Эти последние несколько дней были чрезмерно тяжелы для меня. Я убежден, что больше не мог бы выдержать. Это кошмар, страшный кошмар, что я могу быть арестован, как грабитель того, что так долго я оберегал. Но я не смею порицать вас. Вы не могли поступить иначе. Моей единственной надеждой было то, что я все закончу прежде, чем меня разоблачат. Это была бы моя последняя ночная работа.

— Как вы вошли? — спросил Мортимер.

— Пользуясь с большой свободой вашей частной дверью. И цель оправдывает это. Цель оправдывает все! Вы не будете сердиться, когда узнаете все, по крайней мере, не будете сердиться на меня. Я имел ключ к вашей боковой двери и к двери музея. Я не вернул их вам, когда уходил. Как видите, мне было не так уж трудно забраться в музей. Я приходил раньше, чем публика уходила. Потом прятался в саркофаг и скрывался там, когда Симпсон делал обход. Я всегда слышал, когда он приходил. Уходил я тем же путем, каким входил.

— Вы рисковали!

— Я должен был.

— Но почему? Во имя чего вы делали это? — Мортимер с негодованием указал на пластинку, которая лежала перед ним на столе.

— У меня не было другого выхода. Я думал и думал, но не видел ничего, кроме отвратительного публичного скандала и личного горя, которое омрачило бы наши жизни. Я избрал лучший путь, каким бы невероятным он вам ни казался, и я только прошу вас выслушать меня, чтобы я мог доказать это.

— Я выслушаю вас прежде, чем предприму дальнейшие шаги, — сказал Мортимер угрюмо.

— Я не намерен что-либо скрывать от вас и доверяюсь полностью вам обоим. Я оставляю вашему великодушию возможность судить о фактах, которые я вам сообщу.

— У нас уже имеются существенные факты!

— Но вы ничего не поняли. Обратимся к тому, что случилось несколько недель тому назад, и я вам все объясню. Поверьте мне, что все, что я вам расскажу, сущая правда. Вы встретили человека, который именует себя капитаном Уилсоном. Я говорю «именует себя», потому что я имею основания думать теперь, что это не его настоящее имя. Отняло бы слишком много времени, чтобы описать все средства, предпринятые им для знакомства со мной и для того, чтобы вкрасться в мое доверие и снискать любовь моей дочери. Он представил письма от иностранных ученых, в которых те просили оказать ему внимание. Впо-

следствии, благодаря собственным достоинствам, ему удалось стать нашим частым желанным гостем. Когда я узнал, что моя дочь полюбила его, я счел это преждевременным, но не был слишком удивлен, так как его манеры и красноречие обладали особым очарованием и это делало его привлекательным в любом обществе.

Он очень интересовался восточными редкостями, и его знание предмета оправдывало этот интерес. Часто, когда он проводил вечера с нами, он, бывало, просил разрешения спуститься в музей, чтобы иметь возможность без помех рассматривать разные образцы. Вы можете себе представить, что я, как энтузиаст, сочувствовал таким просьбам и не удивлялся постоянству его посещений. После того, как он стал женихом Элизы, не проходило вечера, чтобы он к нам не пришел и не посвятил час или два музею. Он имел свободный доступ в музей, и когда мне случалось по вечерам уходить, я ничего не имел против того, чтобы он там оставался.

Это кончилось только после моего увольнения от занимаемой должности и отъезда в Норвуд, где я надеялся на досуге написать труд, давно мной задуманный.

Вскоре после моего увольнения, — приблизительно через неделю, — я впервые ясно понял действительный характер этого человека, которого я так неосторожно ввел в свою семью. Я узнал из писем моих друзей из-за границы, что все его рекомендации фальшивы. Ошеломленный этим разоблачением, я спрашивал себя, что могло побудить этого человека мистифицировать меня? Я был слишком беден для человека, ищущего богатую невесту. Тогда зачем же он явился? И тут я вспомнил, что на моем попечении находились некоторые из самых ценных редкостей Европы, вспомнил также его искусные предлоги для знакомства с витринами. Это был мошенник, который замышлял крупное ограбление. Как же я мог, не нанеся удара моей собственной дочери, которая была безумно влюблена в него, помешать ему выполнить план, который он мог себе составить? Моя выдумка была довольно неуклюжей, но я не мог придумать что-нибудь более существенное. Если бы я написал письмо от своего имени, вы бы обратились ко мне за подробностями, о которых я не желал говорить. Я прибегнул к анонимному письму, умоляя вас быть настороже.

Я могу вам сказать, что после нашего переезда из Белморстрита в Норвуд посещения этого человека не прекратились, так как он, по-видимому, действительно любил мою дочь. Что касается ее, я не поверил бы, что какая-нибудь другая женщина могла быть так всецело под влиянием мужчины, как она. Я не знал, как далеко зашли эти отношения между ними, до тех пор, пока в тот самый вечер в первый раз для меня не стал ясен его настоящий характер. Я приказал попросить его, когда он придет, зайти в мой кабинет вместо гостиной. И я открыто сказал ему, что я все о нем знаю, что я предпринял необходимые шаги для того, чтобы расстроить его намерения, и что ни я, ни моя дочь не желают больше видеть его, когда бы то ни было. Я прибавил еще, что благодарю бога за то, что успел разоблачить его прежде, чем он похитил драгоценности, охране которых была посвящена вся моя жизнь.

Он был действительно человеком железной выдержки. Он воспринял все сказанное мной без признаков удивления или смущения и выслушал меня внимательно и серьезно. Затем он, не говоря ни слова, пересек комнату и позвонил.

— Попросите мисс Андреас прийти сюда, — сказал он слуге.

Моя дочь вошла, и он закрыл за ней дверь. Затем он взял ее руку в свою.

— Элиза, — сказал он, — ваш отец только что узнал о том, что я негодяй. Он знает теперь то, что вам было известно ранее.

Она молча стояла и слушала его.

— Он говорит, что мы должны расстаться навсегда.

Она не отняла от него руки.

— Останетесь ли вы верны мне или лишите последнего благотворного влияния, которое я, вероятно, не встречу больше в жизни?

— Джон, — воскликнула она страстно, — я никогда вас не оставлю. Никогда, никогда, даже если весь мир будет против вас!

Напрасно я убеждал и умолял ее. Все было совершенно бесполезно. Вся ее жизнь была связана с этим человеком. Моя дочь, джентльмены, была всем, что у меня оставалось в жизни, и я был в отчаянии от сознания бесполезности своих усилий спасти ее от гибели. Моя беспомощность, видимо, тронула человека, который был причиной моего несчастья.

— Все это, может быть, не так плохо, как вы думаете, — сказал он спокойно и непреклонно. — Я люблю Элизу так сильно, что моя любовь может спасти даже такого человека, как я. Только вчера я обещал ей, что никогда больше в моей жизни не сделаю ничего

такого, чего ей пришлось бы стыдиться. Я на это решился и еще не было случая в моей жизни, чтобы я не осуществил своего решения.

Он говорил все это так, что его слова казались убедительными. Когда он закончил свою речь, он достал из кармана маленькую картонную коробочку.

— Я хочу доказать вам мою искренность, — сказал он. — Здесь, Элиза, первые плоды вашего спасительного влияния на меня. Вы правы, сэр, подозревая, что я имел определенные намерения в отношении драгоценностей, находившихся в вашем владении. Такое рискованное предприятие прельщало меня, поскольку цель оправдывала средства. Эти знаменитые древние камни иудейского первосвященника как бы бросали вызов моей смелости и изобретательности. Я решил заполучить их.

— Я догадывался об этом.

— Но было одно обстоятельство, о котором вы не догадывались.

— А именно?

— То, что я взял их. Они в этой коробке! — Он открыл коробку и высыпал содержимое на угол моего письменного стола.

У меня волосы стали дыбом и я весь похолодел, когда увидел 12 великолепных четырехугольных камней, на которых были выгравированы таинственные иероглифы. Не могло быть никакого сомнения в том, что эти камни «Урим и Туммим».

— Боже милостивый! — вскричал я. — Как же вы не были разоблачены?

— Благодаря замене 12-ю другими камнями, изготовленными по специальному моему заказу. Камни были так тщательно подделаны, что ни один глаз не мог бы обнаружить разницы.

— Следовательно, камни, находящиеся в витрине, фальшивы? — воскликнул я.

— Они таковы уже в течение нескольких недель.

Мы все молча стояли. Моя дочь, бледная от волнения, все еще держала этого человека за руку.

— Вы видите, на что я способен, Элиза? — сказал он.

— Я вижу, что вы способны раскаяться и исправиться, — ответила она.

— Да, благодаря вашему влиянию! Я оставлю эти камни вам, сэр. Делайте с ними, что хотите. Но помните: что бы вы со мной ни сделали, это будет предпринято против будущего мужа вашей единственной дочери. Вы скоро услышите обо мне, Элиза. Последний раз я причиняю горе вашему нежному сердцу, — и с этими словами он оставил комнату и дом.

Мое положение было ужасно. Бесценные камни находились у меня, но как я мог вернуть их без скандала и без огласки? Я слишком хорошо знал свою дочь, чтобы понимать, что никогда не смогу оторвать ее от этого человека, которому она безраздельно отдала свое сердце. Кроме того, я не был уверен, надо ли было воздействовать на нее, если она имела такое благотворное влияние на него. Как я мог подвергнуть его опасности, не затрагивая моей дочери, и как я мог бы найти себе оправдание, выдав его, если он добровольно отдал себя в мои руки? Я думал и думал, пока не пришел к решению, которое может показаться вам неверным. Но если бы мне пришлось решать еще раз, я уверен, что лучшего нельзя было придумать.

Я решил, что умнее всего будет вернуть камни без свидетелей. С моими ключами я мог попасть в музей в любое время, и я был уверен, что смогу избежать Симпсона, чьи привычки, то есть время обхода музея, были мне известны. Я решил никого не посвящать в свои планы, даже свою дочь, которой я сказал, что намереваюсь посетить моего брата в Шотландии. Я хотел быть совершенно свободным на несколько ночей, без расспросов о приходе и уходе. Для этого в ту же ночь я снял комнату на Гардинстрите, предупредив, что я журналист и буду поздно задерживаться.

Этой же ночью я проник в музей и заменил четыре камня. Это оказалось очень трудной работой и заняло всю ночь. Когда Симпсон обходил музей, я всегда слышал его шаги и прятался в саркофаг. У меня было некоторое знание ювелирной работы, но я был менее искусен, чем вор. Он заменял камни и так замечательно, что, я ручаюсь, никто не заметил разницы. Моя же работа была грубой. Однако я надеялся, что пластинка не будет тщательно рассматриваться и грубость оправы не бросится в глаза, пока моя задача не будет закончена. Следующей ночью я заменил еще четыре камня и сегодня ночью я все бы закончил, если бы не несчастные обстоятельства, которые заставили меня открыть то, что я желал держать в секрете.

Я взываю к вам, джентльмены, к вашему чувству чести и состраданию, чтобы то, о чем я вам рассказал, осталось между нами. Мое собственное счастье, будущее моей дочери,

надежды на возрождение этого человека — все зависит от вашего решения.

— Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал мой друг. — Эта история закончится здесь и навсегда. Завтра оправа будет закреплена искусным ювелиром и таким образом отпадет величайшая опасность, которой со времени разрушения храма подвергся «Урим и Туммим». Вот вам моя рука, профессор Андреас, и могу только пожелать себе, чтобы при подобных тяжелых обстоятельствах я вел бы себя так же великодушно и бескорыстно.

Еще одно примечание к этому рассказу. Через месяц Элиза Андреас вышла замуж за человека, чье имя, если бы я неосторожно упомянул его, вызвало бы у читателей представление о повсеместно и заслуженно уважаемом человеке. Но, говоря правду, этой честью он обязан не себе, а чудесной девушке, которая подняла его, когда он падал в такую бездну, из которой немногие возвращаются.

Перевел с английского *Г. Голодец.*

Г. Туголесов,
режиссер

ПЬЕСЫ ЕСТЬ, ГДЕ ЖЕ СПЕКТАКЛИ?

Пьеса о нашей современной действительности! Без нее невозможна большая жизнь театра. Все успехи и взлеты нашего театрального искусства связаны с постановками талантливых современных пьес. Вот почему с таким нетерпением ожидаем мы появления каждой новой пьесы и с таким нетерпением знакомимся с ней.

Передо мною лежит пьеса пензенского драматурга В. Кирюшкина — «Сыновья». Открываю первую страницу, где напечатаны действующие лица. Список действующих лиц представляет собой перечисление членов семьи, как водится по старшинству, затем их друзей и знакомых, без всякого намека на их отличительные признаки. Такой перечень действующих лиц ничего еще не определяет и поэтому не может возбудить наше воображение.

На этой же странице авторская ремарка повествует о месте и времени действия. К сожалению, и она не будит творческую фантазию читателя, так как превращена драматургом в чисто служебное средство определения места действия. Автор, упоминая о «просторной комнате» в доме Хлебникова, пишет, что в ней нет «ничего лишнего, ничего кричащего». Такие общие замечания не дают возможности читателю, режиссеру, художнику через конкретную обстановку угадать характерные особенности обитателей этого дома. Невольно вспоминаешь Чехова, Горького и других классиков нашей драматургии. Как умели они, соблюдая предельную лаконичность, подчеркнуть характерные особенности места и времени действия, теснейшим образом связанные с идейно-смысловым содержанием пьесы. Именно поэтому их ремарки не только будили, но и верно направляли творческое воображение режиссера, актеров и художника.

Итак, первая страница ничего пока еще не определила. Но теперь мы можем погрузиться в чтение самой пьесы.

В дом старого крестьянина, ныне передового колхозника, человека большого опыта, неутомимого наблюдателя и исследователя Ильи Петровича Хлебникова приезжает его старший сын Михаил. Восемь долгих лет ждали его домочадцы, и вот, наконец, он вернулся. Радость от его приезда усугубляется еще тем, что Михаил полностью оправдал надежды отца. За эти годы он стал ученым — «первым кандидатом наук» среди своих односельчан. С момента своего появления Михаил покоряет читателя так же легко и быстро, как и всех других персонажей пьесы. Теперь мы уже воочию убеждаемся, как нежен он с сестрой, как искренен, чуток и прост в обращении со своей мачехой, младшим братом и дядей. А сколько любви, сыновней заботы и трогательного внимания проявляет он при встрече с отцом...

За эти годы все домочадцы привыкли считать Михаила крупным ученым, новатором, так сказать, своим духовным вождем. Поэтому каждый из семейства Хлебниковых возлагает большие надежды на его приезд. Отец ждет от Михаила новых открытий и надеется, что он благотворно повлияет на своего младшего брата, Илью, человека горячего, не умеющего, по словам старика Хлебникова, «ладить с людьми». В свою очередь, Илья, агроном-практик, жаждет получить от ученого брата необходимую помощь и поддержку в своих смелых новаторских начинаниях. Даже дядя Дмитрий Петрович и отец невесты Ильи — Панкрат, по прозвищу Минерва, ищут помощи у Михаила, считая, что он «все может». Всеобщая любовь и уважение к Михаилу, граничащие с обожанием и сопутствующие ему на протяжении всего первого акта, не претят читателю, так как герой пьесы завоевал такое отношение своими поступками.

Во втором действии читатель узнает, что Михаил берется вырастить просо, доселе не родившееся в здешних местах. Ему удается, силою своего авторитета, склонить на свою сторону отца и ответственных работников райкома и колхоза, но убедить Илью он не в состоянии. Назревает явный конфликт между братьями. Поскольку читатель не может сам решить, кто прав из братьев в этом споре, он невольно подчиняется авторитету Михаила и склоняется на сторону старшего. И только в третьем действии мы воочию убеждаемся, что Михаил Хлебников совсем не передовой ученый, а самый настоящий карьерист, человек беспринципный и аморальный. По его настоянию Илью снимают с должности агронома. Мало того, пользуясь небольшой размолвкой между Ильей

и его невестой Ольгой, Михаил постепенно склоняет последнюю на свою сторону и, без стеснения ухаживая за Ольгой, добивается, в конце концов, ее благосклонности.

В четвертом действии разоблаченный в печати Михаил постыдно бежит из дома своего отца, оставив обманутую Ольгу и даже не пытаясь чем-либо оправдать свои поступки.

Таким образом, мы видим, что сюжет пьесы «Сыновья» построен на истории и столкновении двух характеров, а самая суть, основная идея ее заключается в раскрытии подлинной человеческой сущности братьев Хлебниковых. Этот интересный замысел реализуется в пьесе очень непоследовательно, во многом талантливо, но все же читатель не может отрешиться от ощущения некоторой преднамеренности.

Основная ошибка автора, которую он может и должен исправить, заключается, на мой взгляд, в том, что он не до конца раскрывает читателю, из-за чего идет спор и борьба между Ильей и Михаилом, не до конца выявляет столкнувшиеся точки зрения. Видимо, это представляется драматургу скучным. Он полагает, что пьеса как жанр вообще не позволяет углубляться в вопросы научного и производственного характера. Но если нельзя углубляться, то остается идти на компромисс, т. е. заставить зрителя поверить на слово, что одна точка зрения верна, а другая неверна. Для этого остается одно единственное средство: персонажа, который стоит на верной точке зрения, сделать вообще хорошим человеком, а ошибающегося в своих выводах — вообще плохим. Сознательно не включая зрителя в самую сущность поставленной проблемы, автор оставляет его равнодушным, спокойно следящим за развитием конфликта, потому что решение этого конфликта зрителю уже заранее известно.

Борец за смелое решение производственной и научной проблемы является самым типичным героем современной драмы. Естественно, что успех в этом трудном деле дается художнику лишь в том случае, если он всесторонне овладеет раскрываемой в пьесе научной или производственной проблемой, т. е. овладеет этой проблемой настолько, чтобы не быть ее рабом.

Значительно лучше разработаны автором взаимоотношения Михаила и невесты Ильи, Ольги. Читателю, и зрителю в особенности, будет интересно следить за развитием отношений этих двух персонажей пьесы, потому что ему ничего не приходится принимать на веру. Он все видит, все понимает и оценивает своими собственными чувствами.

Из более мелких недостатков, легко поддающихся исправлению, можно указать на следующее:

1) Автору надо вскрыть существо спора между стариком Хлебниковым и его младшим сыном Ильей. Необходимо, чтобы читатель понял, почему отец Хлебников, будучи сам неутомимым искателем, недоверчиво относится к смелым начинаниям Ильи? Почему упрекает он своего сына, что тот «не умеет ладить с людьми», а сам говорит в конце пьесы: «Если бы мог прожить еще одну жизнь, я прожил бы ее так же... Еще злее воевал бы...»

2) Мне думается, что рассказ Ольги (из 1 акта) о встрече со смелым незнакомцем (Михаилом), который на всем скаку остановил взбесившегося коня, не нужен, так как не вяжется с образом этого себялюба. Так же не нужна сцена, где Михаил, по просьбе Ольги, идет ремонтировать сеялку. Эта деталь, характеризующая Михаила как «умельца», человека «на все руки», тоже противоречит существу его образа.

3) Жаль, что автор только намекает на историю характера Михаила. Следовало бы более глубоко вскрыть те причины, ту конкретную почву, на которой развивались отрицательные черты характера Михаила (любимец отца, шесть лет жил у дяди, влияние академика Аббакумова и т. д.). Только в таком случае отрицательный образ Михаила приобретет познавательный интерес для нашего читателя, зрителя.

4) Необходимо более глубоко мотивировать причину, почему Илья, зная о тяжелой обстановке у Ольги в доме, откладывает срок их женитьбы? Жаль, что автор вложил в уста своего героя столь пошлую песню («Самая нелепая ошибка» ... и т. д.) и заставил его дважды напевать ее. Надо заменить ее другой.

5) Не нужен и рассказ Тони (из II акта) о прежнем увлечении Михаила. И без него у читателя складывается достаточно определенное и полное впечатление об этом персонаже пьесы. Да и вообще лучше автору поменьше рассказывать и побольше показывать.

Недостатки, о которых шла речь, помешали, на мой взгляд, пьесе Вл. Кирюшкина «Сыновья» стать интересным явлением в нашей драматургии. Но мы надеемся, что автор снова вернется к этой пьесе для ее доработки.

* * *

Заглавие пьесы драматурга В. Садовского «Испытание любви» содержит в себе ее основную идею.

Зимой 1941 года в осажденном Ленинграде, в квартире старого врача Ивана Иннокентьевича Нилова читатель знакомится с главными персонажами пьесы: с дочкой Нилова Верой Черновой, ее мужем полковником Черновым Сергеем Павловичем и эпизодическими лицами: литературоведом Соболевым, приятелем Нилова, и Максимовым, коммерческим агентом, лицом «явно отрицательным».

По настоянию Чернова, Вере вместе с сыном Витей приходится эвакуироваться из родного города. Она болезненно переживает свой отъезд и в минуту расставания напоминает мужу о своей жертвенности. Ради него, командира пограничных войск, она не кончила институт, всю жизнь кочевала с места на место и теперь снова должна уезжать неизвестно куда.

Так автор уже в прологе намечает конфликт между Верой и Сергеем Черновым.

После отъезда Веры читатель узнает о гибели младшего сына Нилова, скрипача Алеши, который, по словам полковника Чернова, возвращаясь с концерта на машине, попал под обстрел.

Первое действие переносит нас в 1944 год в один из городов центральной России. Вере Черновой удалось с помощью инженера Глебова устроиться на военный завод и овладеть профессией инженера. Глебов полюбил Веру Чернову, и ей нравится ее новый знакомый. Вера не может забыть, что именно Глебов помог

ей «найти в себе силы и поверить в них», но она помнит, что у нее есть муж и семья. Случайно Вера узнает от своего сослуживца, Пчелинцева, бывшего фронтовика, что ее муж, полковник Чернов, отправил под расстрел ее брата Алешу, якобы пытавшегося перебежать к немцам. Вера не верит, что Алеша мог стать предателем, и тяжело переживает жестокость своего мужа. А тут еще неприятности по заводу. Обнаружен брак во взрывателях, и мину, изобретенную Глебовым, хотят снять с производства. Главная вина падает на Веру. Подозревают, что именно она допустила ошибку в чертежах. Один только Глебов пытается защитить ее. В конце концов, Вере самой удается вскрыть истинную причину брака и доказать свою невиновность. Эти неприятности еще больше сближают Веру с Глебовым. Неожиданно возвращается из госпиталя Сергей Чернов. Он хочет поскорее вернуться в Ленинград и требует, чтобы Вера ушла с завода. Но Вера считает своим долгом раньше помочь заводу выйти из прорыва. Чернов настаивает на немедленном отъезде. Вера непоколебима в своем решении. Она обвиняет мужа в гибели ее брата и в том, что он всю жизнь считался только со своими желаниями. Попытки Чернова опровергнуть обвинение в гибели Алеши ни к чему не приводят. Вера объявляет, что не любит мужа. Слишком тяжелым оказалось испытание ее любви.

Чернов с сыном уехали. Вера осталась на заводе и выполнила свое обещание. Теперь она собирается в Ленинград к семье, хотя и знает, что Глебов любит ее. Именно он своим отношением научил ее видеть в людях «больше хорошего, чем дурного». Она уезжает, чувствуя, что поступает правильно. С ней соглашается и читатель, узнав, уже после отъезда Веры, что ее муж болен и положение его очень тяжелое. И хотя Глебов, сумевший завоевать симпатию читателя, остается один, конец пьесы все же не звучит пессимистично. Читатель верит, что с этим человеком осталось много хороших и дорогих ему воспоминаний, что чувство, которое возродило его душу, выдержит любое испытание.

Яркий и сочный язык пьесы изобличает в авторе опытного писателя. Однако в пьесе он больше рассказывает, чем показывает. Действительно, в прологе Вера, рассказывая о своей прошлой жизни, обвиняет мужа в себялюбии. В первом акте она же рассказывает о Глебове, его бескорыстной помощи и говорит, что могла бы полюбить такого человека, хотя сам Глебов пока еще не успел завоевать своими поступками симпатию читателя. В этом же акте Глебов долго говорит о своем прошлом. Во второй картине Пчелинцев рассказывает Вере о действительной причине гибели Алеши. Во втором действии парторг ЦК Зимин рассказывает Пчелинцеву о том, как поплатился в прошлом Глебов за свою доверчивость. В третьем действии тот же Зимин объясняет Вере, как им удалось найти разгадку небывалого рекорда Сибирина. И, наконец, в четвертом действии Оля сообщает о телеграмме, из которой зритель узнает о тяжелой болезни Чернова. Вместо показа конкретных поступков, характеризующих действующих лиц, автор прибегает в большинстве случаев к спасательному рассказу. Но подобные рассказы-характеристики не дают зрителю возможности стать непосредственным свидетелем совершающихся событий, а заставляют его принимать все на веру, на слово. Конечно, парторг ЦК Зимин, рассказывая о прошлом Глебова, вызывает симпатию зрителя к этому персонажу пьесы. Но было бы куда сильнее и эффективнее, если бы Глебов своими конкретными поступками, т. е. не на словах, а на деле, завоевал бы у зрителя заслуженную любовь и уважение. Именно поэтому в драматургии нельзя злоупотреблять такими косвенными характеристиками действующих лиц. И если бы автору удалось заменить большую часть рассказов конкретными действиями, характеризующими персонажей, то пьеса «Испытание любви» значительно выиграла бы в сценическом отношении.

* * *

Читая новые пьесы, мы предъявляем к ним большие требования, потому что знаем нашу драматургию и верим в ее неограниченные возможности. Этой верой продиктованы и мои замечания, касающиеся данных двух пьес. Говоря о них, я хотел обратить внимание, что многие авторы, приходя в драматургию с большим запасом жизненных наблюдений и с хорошим пониманием особенностей борьбы нового со старым, еще не овладели знанием законов театрального искусства. Именно поэтому они сплошь и рядом не находят нужные им художественные средства, наиболее точно и полно воплощающие их замысел на сцене театра.

Чтобы вести борьбу за нашу советскую классическую пьесу, нам надо покончить со снисходительностью в критике и наладить такое творческое общение и творческую взаимопомощь, которые бы максимально способствовали росту мастерства наших драматургов.

Конечно, никакая творческая взаимопомощь не даст таланта тому, у кого его нет. Однако и таланта одного еще мало. «Талант сам по себе не редкость, — говорил В. Г. Белинский,—но он всегда был и будет редкостью в соединении с страстным убеждением, с страстной деятельностью, потому что только тогда может он быть действительно полезен обществу».

И. Федоров

ВЕРЕТЕННИКОВЫ—РОДСТВЕННИКИ В. И. ЛЕНИНА

Отец Владимира Ильича Ленина Илья Николаевич Ульянов с 1855 по 1863 г. работал старшим преподавателем физики и математики в Пензенском дворянском институте. Помещался институт в новом специально выстроенном здании, в котором в настоящее время находится средняя школа им. В. Г. Белинского.

В июле 1860 года в Пензенский институт на работу инспектора приехал Иван Дмитриевич Веретенников. Веретенников в 1841 году окончил Казанский университет. После окончания университета работал в Пермской гимназии в качестве заведующего фундаментальной библиотекой и преподавателя латинского языка, а с 1856 по 1860 год был инспектором Самарской гимназии и одновременно исполнял обязанности директора народных училищ Самарской губернии. Женат Веретенников был на Анне Александровне Бланк, старшей сестре Марии Александровны — матери Владимира Ильича Ленина.

Мария Александровна часто гостила в Пензе у своей старшей сестры. Обе сестры были воспитаны в духе передовых идей.

Мария Александровна родилась в Петербурге в 1835 году в семье врача. Их отец Александр Дмитриевич Бланк, по происхождению мещанин, окончил Петербургскую медико-хирургическую академию и длительное время работал врачом. В 1847 году вышел в отставку, купил в деревне Кокушкино под Казанью небольшое имение и навсегда перебрался туда на жительство.

Александр Дмитриевич рано овдовел. Поселившись в деревне, он посвятил себя воспитанию своих дочерей и лечению крестьян. Александр Дмитриевич приучал дочерей к физическому труду и закалял их здоровье. Младшая из пяти девочек Маша мечтала получить высшее образование, учиться в столице. Эта мечта так и не сбылась. Но Мария Александровна занялась самообразованием. В короткий срок она овладела английским, немецким, французским языками, а позднее изучила русскую и западную литературу.

В 1863 году Мария Александровна экстерном сдала экзамены и получила звание учительницы народной школы. Преподавать же в школе Марии Александровне не пришлось, но ее педагогический талант не пропал даром: он полностью проявился в семье.

Постоянная связь Марии Александровны с семьей Веретенниковых помогла ей в самообразовании.

Жили Веретенниковы в казенной квартире при институте. Семья была культурная, с передовыми взглядами.

Часто на квартире у Веретенниковых устраивались вечера, на которых собиралась учительская молодежь.

Постоянным посетителем этих вечеров был Илья Николаевич Ульянов. На этих вечерах Илья Николаевич познакомился с Марией Александровной, которая впоследствии стала его женой.

Литературные вечера у Веретенниковых превращались в рассадник демократических идей. Здесь разбирались книжные новинки. Активно обсуждались взгляды авторов, много было и литературных споров.

Позднее, когда Веретенниковы жили в Казани, Ульяновы вместе с детьми каждое лето ездили к ним. Володя Ульянов охотно любил играть со своими двоюродными братьями и сестрами.

Одна из дочерей Веретенникова—Анна Ивановна, впоследствии стала врачом. Получив в Петербурге медицинское образование, она продолжительное время работала участковым земским врачом в глухом татарском селе Уфимской губернии, в тяжелых условиях косности, безразличия к нуждам народа со стороны царских чиновников. Все это подорвало ее здоровье. В возрасте 32 лет Анна Ивановна умерла от туберку-

леза легких. После себя она оставила замечательные воспоминания «Записки земского врача», напечатанные в журнале «Новый мир» (№ 3 за 1956 год).

Во время отпусков Анна Ивановна приезжала к Ульяновым. Любимым ее собеседником был Илья Николаевич — отец В. И. Ленина.

Один из сыновей Веретенниковых — Николай Иванович является автором детских книг о Владимире Ильиче. В своих воспоминаниях, в частности, он писал: «В семье Ульяновых взята была для Володи няня, Варвара Григорьевна, большая приятельница моей няни. Они были землячки из Пензенской губернии. По словам моей мамы, эти старушки, уложив спать пятишестилетних питомцев, усаживались у окошка на крылечке и вели беседы. Наша няня как-то передала маме свой разговор. «Я хвалю Володеньку, — говорю: умненький, золотой мальчик, а Варвара Григорьевна отвечает: это другие дети хорошие, а мой Володенька — бриллиант. Так и называет Володеньку «бриллиантовый мой».

В настоящее время в доме-музее В. И. Ленина в Ульяновске восстановлена комната няни. В комнате стоит венский стул, табуретки, стол, покрытый клеенкой. На столе керосиновая лампа и клубок ниток со спицами для вязания. Кровать, покрытая одеялом. В правом углу, рядом со столом, дощатый сундук. Все так, как было в семье Ульяновых. Однако из подлинных вещей няни сохранился лишь сундук. Длительное время неизвестна была даже ее фамилия. Объясняется это тем, что Варвара Григорьевна жила у Ульяновых как своя, ее иначе и не звали, как няня, нянюшка. Варвара Григорьевна прожила в этой замечательной семье двадцать лет (с 1870 по 1890 год), делила с Ульяновыми и радость и горе.

Она с большой любовью и преданностью относилась к семье Ульяновых, вместе с ними переехала в Самару, где умерла семидесяти лет, в апреле 1890 года. Фамилия Варвары Григорьевны — Сарбатова.

Николай Иванович Веретенников, свидетель детства и юности Владимира Ильича, разделявший с ним игры и развлечения, умер в 1955 году и похоронен в Москве на Ново-Девичьем кладбище.

В. Саранцева

КНИГИ О ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Среди книг, находящихся в иностранном фонде библиотеки Пензенского краеведческого музея, особый интерес для местного читателя представляют те из них, которые в той или иной мере отражают историю, экономику, природу и культуру нашего края.

Это прежде всего объемный труд «Путешествие профессора Палласа во многие провинции Российской империи». В библиотеке имеется французский перевод этой книги с немецкого оригинала, изданный в 1793 г. в Париже, в 8 томах.

Свое путешествие Паллас совершил около 200 лет назад. В 1768—1774 гг. он, по заданию Российской Академии наук, побывал в целом ряде местностей России. Это была своего рода комплексная экспедиция. Паллас интересовался самым широким кругом вопросов: геологией и полезными ископаемыми, ландшафтом и рельефом местности, растительностью и животным миром, земледелием и промышленностью, судоходством и торговлей, жилищами, бытом, костюмами и языком народов, населявших тогдашнюю Россию. Такая энциклопедичность исследований не должна нас удивлять. Многие науки тогда только создавались и были сравнительно слабо дифференцированны. Поэтому часто ученые совмещали в себе геологов и географов, математиков и лингвистов. Примером тому может служить хотя бы наш гениальный Ломоносов.

В пределы Пензенского края Паллас попал уже в самом начале своего путешествия — осенью 1768 года. 1 сентября он приехал в Саранск, который в то время был незначительным городком, населенным земледельцами, ремесленниками и мелкими торговцами. Паллас подробно описывает реки теперешней Мордовии — Саранку, Иссу, Мокшу, полевую и лесную растительность, занятия жителей. В частности, он заинтересовался сбором лекарственных и возделыванием технических растений — красильной резеды, дрока и душицы, из которых местное татарское и мордовское население изготовляло краски различных цветов.

В 60 км от Пензы, за с. Алферовка, находилась целая красильная фабрика, которую Паллас тоже посетил. Проезжая через Инсар, он отметил тамошнее литейное производство, основанное заводчиком Николаевым на базе местной руды. Производились, главным образом, кухонные горшки и котлы (30 000 пудов в год), которые шли на приволжские и украинские рынки. В Инсаре существовал также поташный завод.

По пути на Пензу Паллас проехал через с. Вазерки, окруженное таким густым лесом, что сквозь него, как пишет путешественник, с трудом пробивались лучи солнца. Ученый по некоторым признакам предположил, что возле Вазерок находятся залежи железной руды. Отметил он и остатки старинного сторожевого вала, шедшего между Мокшей и Сурой. Все пространство между Вазерками, Бессоновкой и Пензой представляло собой плодородную местность с богатыми помещичьими имениями. Большие неприятности доставляли только дороги, пересеченные глубокими оврагами: Палласу приходилось то и дело чинить свой экипаж.

Интересно описание тогдашней Пензы: «Как бы плохо ни был построен город Пенза, его положение на

возвышенности, омываемой Сурой, и большое число его церквей придают ему очень красивый вид. Его жители имеют решительный вкус к торговле, которую они предпочитают всякому другому роду занятий. Я могу заверить, что встретил там лавки, столь же хорошо снабженные товарами, как и в Москве, — чего в других местах не увидишь».

В реке Пензятке, которую Паллас называет «ручьем Пензянкой», и в других более мелких притоках Суры водилось много рыбы, в том числе такие ценные породы, как стерлядь и др. Пензенская провинция считалась одной из хлебородных, и на базе дешевого крепостного труда здесь существовало несколько винокуренных заводов, на которых наживались их владельцы-помещики.

Описывая геологическое строение Присурья, Паллас отмечает наличие здесь залежей пиритов и наждачного камня, которые, впрочем, разрабатывались еще довольно слабо.

Направляясь из Пензы в Симбирск, Паллас проехал через с. Селиксу. Основным занятием его мордовского населения было тогда животноводство и смолокурение. Селиксенцам, по словам автора «Путешествия», удалось даже вывести особую породу животных на основе скрещения овец и коз.

Таким образом, в книге Палласа содержатся довольно подробные и разнообразные данные, касающиеся природных богатств, экономики и быта жителей нашего края в начале второй половины XVIII века.

Это были первые исследования, проведенные с научной целью на территории нынешней Пензенской области. Труд Палласа до сих пор служит одним из серьезных источников краеведческого изучения прошлого как Пензенской, так и других областей. На него часто ссылаются позднейшие исследователи, и всякому, кто занимается разработкой тех или иных научных и практических вопросов, связанных с Пензенским краем, необходимо ознакомиться с первым томом указанного «Путешествия».

Несомненную ценность для специалистов представляет также большой и обстоятельный труд русского ученого И. Х. Штукенберга «Гидрография государства Российского», изданный в 1844 г. в Петербурге, в 6 томах, на немецком языке.

В пятом томе этого труда мы находим подробное описание рек Суры и Мокши с их притоками. Даются географические координаты этих рек, ширина и глубина, конфигурация русла, даты вскрытия и ледостава за ряд предшествующих лет. Приводится также описание сурских почв и прибрежной растительности, причем Штукенберг часто ссылается на других исследователей, в частности, на Фалька, путешествовавшего по России в те же годы, что и Паллас, и сообщившего, между прочим, что на Суре когда-то жили бобры.

Автор книги не ограничивается узкоспециальными вопросами гидрологии и гидрографии. Он тесно связывает их с экономикой прилегающих населенных мест и сообщает обширные сведения о судоходстве, лесосплаве, мельницах, существовавших тогда на Суре (в том числе купца Очкина у Шуиста), о товарах, перевозившихся водным путем.

С работой Штукенберга тем более следует познакомиться, что, насколько нам известно, другого такого всеобъемлющего исследования наших рек до сих пор не существует.

Чрезвычайно ценные, главным образом, цифровые данные о Пензенской губернии приводятся в книге М. Л. Тенгборского «Очерки производительных сил России», изданной в 1852 г. в Париже, на французском языке.

Книга состоит из двух томов. В первом томе напечатаны обширные статистические материалы, относящиеся к таким вопросам, как площадь поверхности, в том числе пахотной земли, лугов и лесов, количество населения, число землепашцев и др. по губерниям, в том числе и по Пензенской. Так, мы узнаем, что наш край в эпоху, непосредственно предшествовавшую крестьянской реформе, насчитывал свыше 300 мелких и средних помещиков, которые в общей сложности владели больше чем 265 тысячами крепостных. По числу крупных помещиков, с количеством крепостных свыше 500, Пензенская губерния занимала в России одно из первых мест.

В ряде помещичьих имений выводились рысистые лошади смешанной породы. Существовали также сахарные заводы (по производству сахара Пензенская губерния занимала 14-е место в России).

Пензенские поля славились своим плодородием и урожайностью. Во втором томе книги автор пишет о том, что здесь много фруктовых садов, «известных изобилием и разнообразием своих плодов», и что огородничество вокруг Пензы приобрело некоторое значение. Упоминает он и о с. Бессоновке, где уже тогда выращиванием лука занимались около 2 тысяч человек. Лук отсюда отправляли во все соседние губернии, а также в Киев и Астрахань. Автор останавливается на вопросах лесного хозяйства, настаивая на необходимости упорядочить вырубку леса.

Все это делает книгу Тенгборского, который был членом Государственного Совета и, следовательно, лицом, достаточно осведомленным и имевшим доступ к официальным документам, хорошим пособием для историков и экономистов, изучающих предреформенное хозяйство и вопросы помещичьего и крестьянского землевладения в б. Пензенской губернии.

Некоторые сведения по экономике Пензенской губернии можно встретить в книге А. Бальби «Краткий курс географии», изданной в Париже в 1842 г. В статистической таблице, относящейся к России, приводятся данные о площади поверхности и количестве населения Пензенской губернии на конец 1826 г. Дается также краткое описание г. Пензы, причем отмечается значительная торговля кожей и мылом, а в области культуры — наличие гимназии и... духовной семинарии с 7 преподавателями и 1000 учащимися. Упоминается также Керенск с парусиновыми фабриками, Иста (очевидно, Исса) с ковровым производством и Н.-Ломовская ярмарка.

Данные о площади поверхности Пензенской губернии по уездам можно найти в книге генерала Стрельбицкого «Поверхность Европы», изданной Российским Центральным статистическим комитетом в 1882 г., в Петербурге, на французском языке.

В 1872 г. в Петербурге проходила восьмая сессия Международного статистического конгресса. В третьем томе трудов этого конгресса, напечатанных на французском и английском языках, приводятся сведения о денежном обращении в городах России за 1867 и 1870 гг., в том числе и в Пензе.

Зоологам и охотоведам нашей области, интересующимся вопросами разведения лосей, можно порекомендовать обратиться к работе Ф. И. Кеппена «Распространение лося в Европейской России, с особым указанием на начавшуюся в пятидесятых годах миграцию его». Работа эта помещена в периодическом сборнике, издававшемся на немецком языке в 80-х гг. Российской Академией наук, — «К познанию Российского государства и прилегающих стран Азии» (1883, 2-я сер., т. VI).

Автор названной работы пишет о том, что с середины XIX в., по неизвестным причинам, наблюдается миграция лосей из восточной части Новогородской гу-

бернии к югу и в некоторых других направлениях. Идя по пути этого массового переселения, лоси по берегу Мокши перешли из Тамбовской губернии в Пензенскую, где появились впервые в 1867 г. В следующем году их видели у Наровчата, Саранска и Мокшана. В 1875 г. лоси встречались уже и возле Чембара. Кёппен при этом ссылается на журнальные источники — «Журнал охоты и коннозаводства», «Природа и охота», «Журнал охоты», где в свое время было отмечено это явление. К статье приложена карта с указанием распространения лосей в пределах Европейской России за три эпохи: древнейшую, более позднюю (до 1850 г.) и в 80-е годы. Интересны также сведения по топонимике, связанной со словом «лось», на материале многих губерний, в том числе упоминается Лосевка в Краснослободском уезде.

В приложении к этому тому, посвященном распространению бизонов в Нижегородской губернии, приводится свидетельство проф. Брандта о том, что останки ископаемого бизона были найдены между прочим и в Пензенской губернии.

О ландшафте Пензенского края (по жел. дороге от ст. Соседка до Пензы) есть упоминание в книге «Путеводитель экскурсий VII Международного геологического конгресса», изд. в 1897 г. в Петербурге на французском и немецком языках.

Очень ценным пособием по этнографии является книга Хейкеля «Уборы и вышивки мордвы», изданная в 1899 г. в Хельсинки Финно-Угорским обществом, с параллельным текстом на финском и немецком языках. Она представляет собой вторую часть работы «Этнографические исследования финских народностей» и состоит из одного тома с описаниями и двух томов очень хорошо выполненных цветных иллюстраций, изображающих национальные мордовские костюмы и узоры вышивок. Материал для этой книги собирался в середине 80-х годов на Средней Волге, в том числе и в Пензенской губернии. Некоторые цветные таблицы сделаны по образцам из пензенских сел: Болдово, Сузгарье, Пичуры и Дракино. Во введении дается краткий историко-географический очерк о мордве и о взаимном влиянии друг на друга русского, мордовского и татарского населения Пензенской и др. губерний. В описаниях предметов женской и мужской одежды указывается их мордовское наименование. Описываются приемы мордовской вышивки, в том числе у мокшанок Чембарского уезда.

Для литераторов и всех читателей альманаха, несомненно, большой интерес должен представлять тот факт, что уже в 1846 г., то есть вскоре после гибели великого поэта и нашего земляка М. Ю. Лермонтова, в известном парижском журнале «Иллюстрасьон» появился полный перевод на французский язык «Героя нашего времени». Большое количество номеров этого журнала, с 40-х гг. XIX в. по 1904 г., хранится в библиотеке краеведческого музея, — среди них и те, в которых помещен перевод.

Наконец, в библиотеке музея находится и еще один французский, на этот раз современный прогрессивный французский журнал «Этюд совьетик» № 16 за 1949 г. В этом журнале помещена статья И. Эренбурга «Самди-Суар не все сказала». Поводом к написанию статьи послужили нападки буржуазной французской и заокеанской печати на советскую жизнь и стремление этих «разбойников пера» изобразить Советский Союз страной дикарей. Для ответа на эти нападки Эренбург очень удачно использовал материал своей поездки в Пензу, Чембар и Тарханы (то есть г. Белинский и с. Лермонтово) в связи с юбилеем В. Г. Белинского в 1948 г. Он начинает с того, что в одном из последних изданий известного французского энциклопедического словаря Ларусса о Пензе говорится буквально следующее: «г. Пенза. 92000 жителей. Кожи и мыло». Не иначе, как это описание заимствовано из уже упоминавшейся «Краткой географии» Бальби, изданной больше 100 лет тому назад!

Эренбург, со своим обычным тонким и своеобразным остроумием, замечает, что и жителей теперь в Пензе не 92 тысячи, а побольше, и живут они не только кожей и мылом. Он вкратце рассказывает о пензенских заводах, вузах, писателях, картинной галерее, где одна сотрудница расспрашивала его о современной французской живописи, сообщает о том, что одна из готовившихся в то время в Пензенском пединституте дипломных работ была посвящена французскому поэту XVI в. Клеману Маро, о своем посещении школы в с. Лермонтово, где учащиеся по давней традиции изучают французский язык и беседовали с ним по-французски. В г. Белинском писатель имел удовольствие видеть на сцене районного Дома культуры пушкинского «Бориса Годунова», поставленного силами самодеятельности. Невольно возникает вопрос: кто же заслуживает название дикарей?

Так известный советский писатель поддержал честь нашего родного города, высмеяв зарубежных выдумщиков и клеветников. Несмотря на то, что со времени опубликования этой статьи прошло уже 10 лет, она, конечно, и теперь не потеряла своей актуальности. Кстати в библиотеке музея есть перевод ее на русский язык, так что с ней могут познакомиться все желающие. К сожалению, перевода других упомянутых в настоящей статье краеведческих материалов пока не существует. Следовало бы пожелать организовать это дело заинтересованным в них учреждениям. Необходимо также обязательно включить эти работы в библиографические указатели краеведческой литературы, подготавливаемые к изданию в г. Пензе.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Почивалин. Сибирская повесть 1
А. Карасев. Весна. Поим. Девушка с коромыслом. Пастух, стихи 24
В. Садовский. Уравнение с тремя неизвестными, рассказ. . . . 25

Люди семилетки

А. Петров. Новое на старом заводе 30
В. Максимов. Сталевар, стихи 32
Виктор Ракитин. Чужая роль, басня 32

Первые произведения

А. Сазонов. Семейный случай, рассказ 33
Василий Попов. Проводник 35
Повилика 36

Народные сказки

Про кукушку (из подготовленного А. П. Анисимовой нового фольклорного сборника, записал В. А. Воробьев) 37
Солдат и царь (записал В. И. Буйлов) 38

Сатира и юмор

И. Седов. Охотничья история 39
Моя жизнь в стенгазете 42

Приключения и путешествия

А. Конан-Дойль. Урим и Туммим. (Из рассказов «У камелька») . 46

Критика и библиография

Г. Тугулесов. Пьесы есть, где же спектакли? 56

Заметки краеведа

И. Федоров. Веретенниковы — родственники В. И. Ленина . . 59
В. Саранцева. Книги о Пензенском крае на иностранных языках . 60

Редактор *Н. И. Катков.*
Редколлегия *А. П. Анисимова, К. Д. Вишневский, Н. А. Грачев, Ф. М. Дворянов, Н. М. Почивалин, И. П. Седов, Г. Н. Федотов.*

Обложка художника *Г. Мазурина.*
Художественный редактор *П. Милосердов.*
Технический редактор *Е. Воронкова.* Корректор *А. Храмова.*

Сдано в набор 27/VI — 60 г. Подписано к печати 19/VIII — 1960 г.
Формат 84×108¹/₁₆. Объем: печ. л. 4,0, условн. п. л. 6,56,
учет. изд. л. 6,7. ФЛ04208. Тираж 5000. Изд. № 68.
Пензенское книжное издательство
Пенза, улица Кирова, 65.

Заказ 2293. Пензенская областная книжная типография.
Цена 2 руб. 70 коп.
С 1 января 1961 года цена 27 коп.

Цена 2 руб. 70 коп.

С 1 января 1961 года цена 27 коп.